

Рс

Т 26

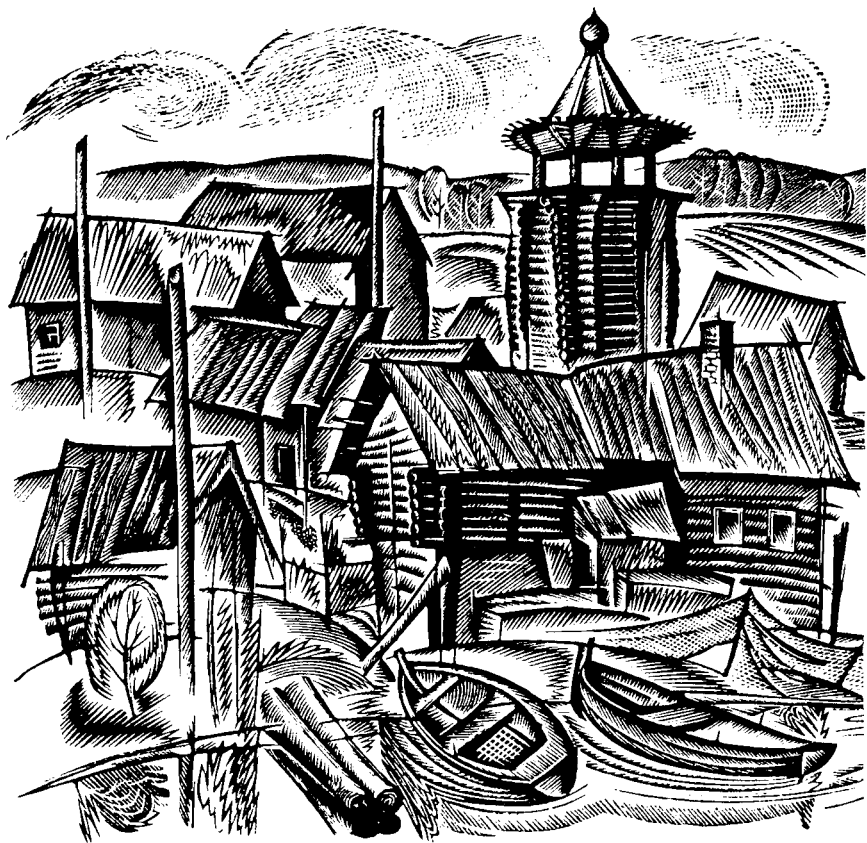
I 572795



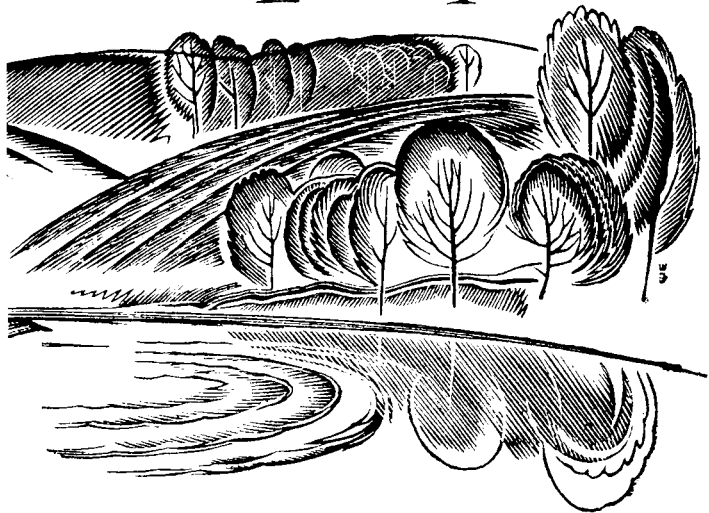
ЕФИМ ТВЕРДОВ

В ЛЕСАХ
ПРИОНЕЖЬЯ





ЕФИМ ТВЕРДОВ



В ЛЕСАХ
ПРИОНЕЖЬЯ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА · 1966

Собранные в этой книге короткие рассказы посвящены людям и природе Прионежья. Автор превосходно знает и любит свой край — его описания природы поэтичны, верны, раскрывают неизъяснимую прелесть леса, живо рисуют его обитателей, проникнуты заботой о сохранении природных богатств родного края.

Автор интересно рассказывает, приводя множество малоизвестных подробностей, раскрывающих скрытую от многих сокровенную сторону жизни дикой природы, и о характере и повадках лисы-охотницы («На мышкованье»), и о нраве злобной рыси («Случай в Югозерском лесу»), и о том, как гадюка сменяет кожу («Кафтанчики-сарафанчики»), о певчих птицах и рыбах и многом другом. Рассказы сборника написаны задумчиво, образным русским языком, пересыпанным прибаутками, меткими словечками, присловьями, в них сквозит мягкий и тонкий народный юмор.

Рассказы Твердова раскрывают целый мир самобытной природы и жизни в одном из живописнейших уголков нашего Севера.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С МАНОСОМ

Старый охотник из Югозерского лесного клина Сергей Панфилович Умрихин снова побывал у меня на подворье. Часто шмыгая носом и присвистывая, он рассказал мне о еще никем не описанной красоте большого Губаревского клина, что широкой полосой тянется по берегу Онежского озера.

— Ты, сват-брат, зазря туточки не засиживайся. Забирай продохт — и айда на Саражу.

Старик немного помолчал, пожевал реденькие усы, свисающие прямо в рот, без надобности потрогал бородку с проседью и снова стал меня уговаривать:

— Хвото (так он назвал фотоаппарат) возьми с собой. Много красоты заснимешь. Ежели взять хотя бы для примера старую куржекскую мельницу, то разлюли-малина. Вокруг ее горы-пеструшки, лесины, плешины, полянки-белянки, ковер травяной запашистый, так и медит, так и медит да ландышем попахивает. Вот как там, в Саражской лесной обители.

Соблазнившись рассказами бывалого охотника, я в тот же вечер отправился в большие Губаревские леса искать реку с красивым названием Саража. По реке Ноздрега я поднялся к Кондрахинским суземам и вскоре вышел к Лединским гарям. Лединские места богаты озерами. Между озер высотки, поросшие мачтовым сосняком, что стоит при ярком солнце, словно золотом затканый. На иных высотках лес разросся так густо, что закрывает солнцу доступ к земле. Чисто в бору: ни одного сучка, нигде ни единой валежины. Будто весь мусор тут подобран человеческими руками. Но вот высотки кончились, начались чащобы. Такие места лединские старожилы называют «непролазами».

Между «непролаз» залегли болота. Но приглядишься к болотам — и диву даешься! Живет эта болотина, цветет. Ржавая вода поблескивает, будто танцует на припечинке. Лужицы окаймлены мшаником, а из того мшаника, высунув головку, глядят белые лилии. На кромке болота, из крохотных кусточков, будто из пеленок, вылезает папоротник. Он раскачивается на ветру. Тут же, чуть-чуть повыше на ступеньку, в ольшанике да в березнике, кудрявится заячье ушко. По обочинам болота красным янтарем стелются клюквенные побеги. В середине болота тянутся

к свету голубичные ветки, тут и там голубеют проплешины морошки.

Вот и озеро Палья. Небольшое, тихое, без тростника и очерета. Залегло оно между крутых сопок и ярко-огненных боров. Берега озера сухие, поросли березниками да осинником. За этой порослью по всему высокому крутояру высятся величавые, крепкоствольные сосны, подпирают своими вершинами голубое, безоблачное



небо. Сосны прямые, гладкие до самых верхушек. На них словно папахи с терпко-темно-зеленой отделкой. У подножья этих зеленых теремков много цветов. Тут тебе мать-и-мачеха, анютины глазки, медуница и хохлатка, первоцвет и фиалка. Но больше всего черничника, брусничника — сплошь растут, только кое-где высовывается жеманница — белая дрема, будто она и есть самая первая красавица на свете.

К полночи показались дома небольшой деревеньки, сгрудились по холмам, точно их высыпал кто из лукошка. Избы прижались друг к другу ласточкиными гнездами — вот-вот сорвутся в полет со своих горюшек. Между ними серебряной проволокой змеилась безымянная речка, мелкая и быстрая. Пахло полями, хлебом и сухостойными травами.

Обогнув деревушку, я перешел луговину и окунулся в лесную чащобу. Встретило меня птичье многоголосье.

Вставала заря, всякий лесной уголок заполняла звонкая песня певчих птиц. Оводов еще не было, зато миллиардная армия мошкары донимала меня, и казалось, что я, поистине, попал в «комариное царство». Но мне все равно было до чертиков хорошо и приятно.

Я с ходу взял еще одну сопку, залез к ней на плоскую вершинку. Оттуда виднелись как на ладони слободские деревеньки, постройки Куржексы и гладь Онежского озера. На сопке гулял ветер. Сюда доносилось шуршание листвы, беспокойный гомон крон, где-то рядом, скрытая от взгляда, постукивала пестами водяная мельница. Откуда-то слышно было, как крикают утки.

С запада быстро надвигалась черная грозовая туча с ярко озаренными краями. Воздух сразу похолодел.

Я спустился в лощину и укрылся под кроной большой старой ели. Прямо перед глазами выскочила слепящая молния, ударил сильный гром — и на шумящие кусты хлынул сильный ливень.

Дождь прошел так же быстро, как и пришел. Но вспышки молний все не прекращались. Они чертили в небе стреловидные линии. Каждую вспышку молнии сопровождал сильный удар грома.

Удобно усевшись подле толстого ствола, я задремал.

Очнулся я от обступившей тишины — гроза прошла, напуганные птички еще робко молчали. Вдруг до меня донеслись слова песни:

Меж крутых бережков
Волга-речка течет,

А по ней, по волнам,
Парень в лодке плывет...

Откуда она шла? Сначала я не понял. Прислушался. Сильный и довольно зрелый голос белокрылой чайкой парил над лесом. Песня выходила на просторы пожен, поднималась на вершины сопок, перешагивала ручейки и мягко-мягко скользила с самых высоких верхушек леса в лощины и там заполняла собою ее уголки...

Я снова заснул. Заснул с песней и проснулся с ней, но уже не «Меж крутых бережков», а «На солнечной поляночке». Я быстро поднялся и пошел на голос по узкой тропинке. На ней мне встретился мальчик лет двенадцати. Одет он был в полосатую рубашку. На голове черная фуражка, сдвинутая на затылок. Из-под козырька смотрел он на меня бойко и весело. Штанины латаных брюк засучены по колени. Босые ноги его в нескольких местах были исцарапаны. За плечами висел маленький берестяной пестерик, а в руке он нес литровый бидон, очевидно с молоком.

— Здравствуй, дяденька, — тихо промолвил он и сразу же спросил: — Песню слушаете?

— Слушаю, — ответил я и еще раз оглядел мальчика. Его маленький носик блестел, что пунцовая пуговка. Я спросил: — Идешь по лесу в такую рань и никого не боишься?

Мальчик расхохотался.

— Нам бояться заказано. В лесу живем, с лесом дружим.

— Ну-у? — удивился я бойкому ответу. — И лешего не боитесь?

— Нет. Не боюсь. Его у нас давно лесники выдворили. Уволили за ненадобностью.

— И леший согласился на увольнение?

— А как же иначе? Раз его никто не пугается, значит, и торчать ему тут нечего. Не бояться мы с пеленок приучены: березовой кашей не мучены, а приучены.

— Ну, а далеко ли путь держишь?

— На песню попеваю. Дедушке завтрак несую.

— А кто так красиво поет? — спросил я.

Мальчик поглядел на меня с удивлением:

— Разве не знаете?

— Нет, не знаю.

— О дедушке Маносе ничего не слыхивали?

— Нет, не слыхивал. Может, ты познакомишь меня с дедушкой Маносом?

Мальчик обрадованно шмыгнул носом.

— Обязательно. У нас никому не заказано. Народ наш понаровный, дружный, нетутошних не обижает. Идемте. К завтраку поспеем.

И мы пошли по неширокой тропе. Стежка бежала между кудрявых березок, покосными поляночками и все время спускалась в низину. Вскоре я услышал плеск воды и разговор порогов. Это и была река Саража. Когда мы подошли ближе, лес расступился и показалась яркая луговина. Река змеилась в береговых отмелях. Она явно торопилась туда, где прерывались сенокосные поляночки и начинался большой лес. У самой реки росли высокие ели и сосны. Вода в омутах отцвела, и, несмотря на большую глубину, все дно просматривалось. У берега, в тихой заводи, росли золотые кувшинки. Прямо за

рекой поднималась по крутояру изгородь из тонких жердей.

Славка остановился. К губам приложил ладонь, крикнул, что прозвенел:

— Де-да!

От крутого косогора, где были расставлены ульи, вышел человек в белом халате. Он был невысокого роста, плечистый. Крупно шагая, он торопился и на ходу напевал вполголоса. Не нужно было большой наблюдательности, чтобы определить в идущем бывалого солдата. Плотнo ступая, он шел, не раскачиваясь, слегка отбивая шаг руками. Небольшая опрятная бородка с проседью приятно обрамляла лицо. Кончики усов были по-солдатски закручены кверху. Он подошел к нам, открыл ротца и, получая от внука пестерик и бидон с молоком, спросил:

— Шел по лесу — не струхнул?

Славка улыбнулся.

— Хоть что, никого не боялся. Нетутошнего, дедушка, к тебе привел — познакомиться с тобой хочет. Бабушка Манефа тебе парного молока послала, тетушка Дарья Петровна лепешек.

— Спасибо, спасибо, внучек. Пойдем-ка в избу.

Мальчик пошел за дедушкой. Меня Манос, по всей вероятности, забыл пригласить в свои покои, и я остался стоять за воротами.

Отойдя несколько шагов, старик повернулся и, увидев, что я стою на старом месте, крикнул:

— Пра слово, чего уж стоять-то? Ступай за нами! У нас тут попросту, по-здешнему!

И я пошел. Дед и внук о чем-то оживленно разговаривали. Славка все время забегал вперед, потом

поворачивался к деду и говорил, говорил без умолку. Дедушка заметил мою неосведомленность, улыбнулся, пояснил:

— Это у нас так ведется. Пра слово, приходит паренек из колхоза, все новости с собой приносит. Живое радио. Вот сейчас мне Славка докладает, что мед продали, деньги выручили. Мне от этого-того радостно и тому прочее.

В конце пасеки, на берегу Саражи, под раскидистыми березками стоял опрятный домик пасечника. Дом был небольшой, уютного вида, с затейливой резьбой на наличниках окон. Под березами на столбиках был сооружен дощатый стол, рядом устроены две скамейки. Тут же стоял самовар.

Кирилл Петрович приказал Славке греть самовар, а сам повел меня в дом. Внутри было тоже светло, свежо, чисто.

Чай пили молча, так уж заведено у здешних: «Когда я ем — то глух и нем». После чая Славка вымыл посуду, убрал ее в шкафчик, что стоял подле избы, а дедушка Манос вновь надел свое немудреное обмундирование пасечника и, стоя передо мной с дымарем в руках, советовал:

— Пра слово, меня ждет работа, а вы уж тут без меня. Ступайте до мельничной плотины. Там в омутах у протоки прорва рыбы. После зореванья милости прошу на гостеванье.

Проходя пасекой мимо Кирилла Петровича, я еще раз оглядел его. Он аккуратным черпачком снимал с веток березки пчелиный рой, который вылетел из улья поутру. Тот рой надо было собрать и посадить в другой домик. Так родилась новая семья. Сквозь жужжа-

ние пчел и шелест листвы до меня доносился мягкий голос старика. Снимая пчелиный рой, он и тут напевал. Все его лицо, тело, даже морщинки на лбу и те пели.

После зореванья я вернулся на пасеку. К домику сошлись рыболовы и косари. Кто посильнее да побойчее, рубили для деда дрова и таскали их к домику. Сам Манос, одетый в солдатскую гимнастерку и синие шаровары, стоял на берегу, опираясь на палку, что часовой.

Потом все собрались у столика. Манос подошел к березке, что жалась к обеденному столику, сорвал листик с веточки и, прощупывая его пальцами, проговорил:

— Не скатывается роса с листа, завтра будет ведренная погода.

Рыболовы дали место Маносу в застолье. Улыбнувшись, он сел, поправил дымарь, который стоял на кругу, отгоняя дымом комаров, рукой крутанул усы, погладил бороду, заговорил:

— Начнем, братанушки, искать ключик от лесной кладовой, а найдем его, то почнем отпирать тую кладовую. Я вам сейчас расскажу, что сам видел, что запомнил, а вы слушайте и себе на ус мотайте, что полезно в жизни — с собой возьмите, ненадобное выбросьте и никогда не вспоминайте. За мои сказы меня не ругайте.

КАФТАНЧИКИ-САРАФАНЧИКИ

Есть сорт людей из научных и ненаучных, кто в колбу через луповые очки поглядывает, кто в земельке тросткой ковыряет и все уверяет, будто все то, что есть на нашей земле, приспособляется к временам года. Так ли? Само-то слово «приспособляется» звучит худо, неприятно, от него уши вянут и начихать на него хочется. Нынче всех приспособленцев из наших руководящих контор повыставляли. А вы говорите — приспособленцы из лесных трущоб. Разве живые существа, населяющие наши леса, могут приспособляться к временам года? Конечно, не могут. Доказать? Могу, хотя это дело не легкое, я не из научных людей, но газетенки проглядываю да кое-какие книги читаю взахлеб. Много читаю. Итак, попробую. Конечно, тому не доказать, кто в лесах не бывал, черной корочки под лесиной не сосал, страху не видывал!

Тому хоть что: любой загиб сделает, и совесть у него не покоробится. А мне вот так не сделать. Трудности и радости я всякие видывал. Тринадцать дней в лесу блудил в непогоду, питался подножным кормом. Зимой часто под елкой в мороз ночевал, не простыл. В буреломе носом в лесину стучался. И кой-чего много видывал. Поэтому от души заявляю, что все лесные обитатели не приспособляются, а дерутся за свои права. Отстаивают, так сказать, свою волюшку. Мне довелось видеть лесное переодевание, кулачные бои на пригорочках и в чащах, поединки в воздухе и тому прочее. Поэтому все лесное моему сердцу близко

и дорого. Пожалуй, ни одна матушка так не опекает свое дитя, как опекает и бережет все земное мать природа. Тут не скажешь, что бог дал, бог и взял, а выходит все наоборот: без бога живу, без псалмов пишу жую, без креста чаевничаю, без причастия в хороводах гуляю.

Встаньте ранней весной под кудри березки или сосенки, и вы услышите, как под корой сок оживает, как тот сок вниз спускается и песни поет, сладко шумит, переливается. Перейдите на косогор, и вы услышите муравьиную песню: хорошо поют муравьи! Припадите ухом к матушке земле, и вы услышите, как под прелым листом земля взбухает, ширится, приподнимается, будто на ноженьки вставать собирается, травку-муравку на свет посылает, а на солнышке грибок расправляет свою шляпку. Опята на косогоре заважничали, смеются у всех на виду.

Заботливая мать природа не обошла своими нарядами никого. Всех наделила сполна и по заслугам каждому. Тут, брат, не скажешь: этому дала, этому не дала, этого прогнала прочь, этого раздела догола. Всякая одежда ею выдана по меркам. Кому кафтанчик, кому сарафанчик, кому кофточка, кому юбка, а кому и троечка сразу.

Пришлось мне весной завечерять в лесу на одной проплешинке, около Голубых озер на Губаревке. Тихий вечерок был. С испаринкой. Ветерочек, будто баннным веником помахивался, освежал, насыщал ароматами. Земля податливо гнала живительные соки, истомой дышала. Я сидел под шатром елей да березок на косогоре и глядел, как вода в озере голубела, а от рыбьего разгула она брызгалась, тростник поливался

и тоже звенел славно, протяжно. Спервоначалу прилетела утка-лысуха с белой брошкой на лбу; как повернется ретиво — бриллиантами брошка засветится. Потом шлепнулась у самого бережка утка-чомога в своем красивом пуховом воротничке. Чванится чомога, головой покручивает, а воротник пыжится, дуется. Над озером пролетел ястреб в коричнево-рыжем пиджаке с белой манишкой. Утки бросились наутек, кто куда. Рядом сверкнула в желтой рубашонке синица Зинка, за ней в красном сарафанчике пролетела гаечка, показала свой пестрый кафтан и такой же колпак-гранадер.

Каких только одежонок не повидал я в тот вечер! Тут были синие-пресиние, что дунайские воды, голубые с белой оторочкой по подолу, светло-зеленые с красными фантами на голове, светлые с небесной голубизной, желтые, сизые, фиолетовые, оранжевые и тому прочее. Долго я любовался нарядами, но вот порядку с собой услышал шипение, а потом увидел гадюку. Отвратительное это лесное существо. Не зря их народ побаивается, а коль поймает, то в расщеп ложит, чтоб издохла и ссохла.

Змея, длиной в метр, ползла, извиваясь, к лужайке, где стояла белая береза. Гадюка ярко выделялась на зеленой траве. Лягушата шарахались в стороны с кваканьем. Змея была одета в серое платье с белыми кольцами поперек. По тому, как она быстро ползла, можно было подумать, что и она от кого-то прячется, убегает от погони. Не прошло и пяти минут, как гадюка подползла к белой березе, что на припечинке лопотала листиками, и стала залезать по стволу вверх, а когда влезла, то по нижнему суку протянулась и так

определилась, будто от кого скрылась. Я не отводил от нее взгляда и вдруг вижу: гадюка спустилась вниз головой с тем же красным жалом, а хвостом зацепилась за сук. Так повисела недолго. Потом начала удлиняться и удлиняться. А через минуту она подняла голову к хвосту. Сижу, наблюдение веду. Одна половина змеи серая, а другая стала ярко-зеленой с прозисью. Потом гадюка изловчилась, голову к хвосту подняла и с силой рванулась вниз. В это время будто что-то оторвалось с сука, упало, и вы думаете, что я увидел? Гадюка оставила на березе серое зимнее платье, а в ярком зеленом сбежала. Больше в этот вечер я ее не видел.

Переодеваются лесные обитатели по два, а некоторые по четыре раза в год. Пришлось мне наблюдать за переодевкой зайца-беляка. Поймал я его еще серенького, маленького, у себя на подворье кормил, чем мог, до осени. Зайчонок Скупердяй приластился ко мне, уважать меня стал. Скажу ему:

— Скупердяй, барабань!

Зайчонок встанет на задние лапки к окошку и починает о стекло лапками барабанить, да так занятно, что взаправдашний барабанщик. Его никто не учил, а поди ж ты — понятие заимел. Видно, природа научила его маленько понимать жизнь.

Все лето мой зайчонок был серенький с табачными прядками, а под осень я стал наблюдать, что табачина на зайце исчезает. Куда? Поглядел. Заберется Скупердяй в запечник и почнет своей шкурой о дрова чесаться, да так, что взвизгивает. Хоть и больно, но, видно, закон таков: не скули, не плачь, а раздевайся. Вылезает в то время на избу только для еды, а то,

бывало, целыми днями там просиживал. Потом потерялся мой Скупердяй. Не видел его целую неделю. Наступили морозные дни, холодящий ветерок-северок подул. Я стал лежанку затоплять, а как бросил к лежанке ношу дров, вижу... мой Скупердяй вымахнул из печи и прямо к столу, жрать больно захотел, а сам весь беленький, что снежинка, и только кончики ушей торчат, будто смолой вымазаны — черные. Теперь его можно выпускать на волю. В лесных полянках с воздуха ястребята не заметят, и если заметят, то только у елового леса да у незапорошенных снегом стогов сена.

Какое ж тут приспособление? Всякое существо бьется, защищается, каждый по-своему, каждый скрывается от врага. Одежда им служит вроде маскировочных халатов. А если прибавить к этому, что та же одежонка зимой их согревает, спасает от лютых морозов, то и совсем будет понятно и тому прочее.

Если сомневаетесь в достоверности, сами сходите в лес, понаблюдайте. Без лишнего устатку подтверждение сказанному вы сполна получите.

НОЧНЫЕ СОСЕДИ

Однажды глубокой осенью я запоздал выйти из лесу до наступления темноты. Темнота надвигалась так быстро, что я не успел пройти небольшое болото, как весь лес окунулся в непроглядную темень. Идти дальше по тропинке приходилось медленней, и дорогу я ощупывал ногами, наконец оступился в колдобине, упал, а поднявшись на ноги, решил тут же развести огонь — переждать ночь.

Сухопостоины оказались рядом. Поваленная бурей ель была суха, и ее сучки порохом вспыхнули от зажженной спички, осветив небольшой круг. Я сел подле огня и, прижавшись спиной к корневищам дерева, стал прислушиваться. Какие-то непонятные звуки все время доносились до меня со стороны сопок. Вдруг справа от тропинки, где-то в верхушке громадной ели, раздался голос, похожий на мартовский крик деревенского кота: «Мя-у-у-у...»

С противоположной стороны послышалось ответное «мяу», и вновь все замолкло, погрузилось в дремоту. Но такая глубокая тишина продолжалась недолго. Вслед за мяуканьем прямо на тропе раздался глухой удар хлопушки, сопровождаемый непонятным звуком: «Бак... бак... бак... бак...» Потом кто-то засмеялся: «Ха-ха-ха... Го-го-го... Го-го...»

И вдруг: «Кудь-вы? Кудь-вы? Кудь-вы?»

Как будто кто-то спрашивал меня, куда я иду.

До боли в глазах всматривался я в темноту, а увидеть так ничего не мог. Успокоился, и вскоре сон

повалил меня на мшаник прямо под искры. Я за-
снул... но спал недолго. Лесные шорохи подняли меня
и поставили на ноги. Огляделся вокруг и ничего не
увидел; сел, но звуки опять повторились. Я снова огля-
делся внимательней и увидел стаю куропаток. Они
грелись в тепле от огня и, важничая, то поднимали, то
опускали маленькие головки с хохолком на самой чел-
ке. Одна непугливая белохвостка подошла к моему
рюкзаку и взялась хозяйничать, проверяя содержимое,
но, так как там ничего не оказалось, с досады капнула
на него и отошла к стаду. У меня затекла левая нога,
и я правой рукой по подколенью провел. Один из стаи
мое движение заметил, круто повернул голову, закри-
чал: «Кудь-вы... Кхэ... кхэ... кхэ...»

Вся стая круто снимается от костра. Их хлопки
затихают тут же рядом в густом ельнике. Я снова
сиду смиренно. Показываю видимость, что сплю. Через
мгновение куропатки снова у огня и опять уселись,
охватив костер в полукольцо. Один молодой куропач
без хохолка на челке вышел вперед к огоньку. Старый
куропач закричал на него: «Тхэ-э-э-э», ударил клювом
в хвост, попросил осадить назад.

Молодой отошел назад, встал в ряд с другими и
зачихал, что заругался. Еще через несколько минут
куропатки освоились, улеглись на местах, где стояли,
а потом спрятали головы под крылышки. Один старый
куропач бодрствовал, был чуток, подтянут и внимате-
лен.

Сон одолел и меня. Когда я проснулся вновь, было
уже светло. Костер все еще горел весело и тепло, но
мои ночные соседи из гостей ушли, оставив мне по-
клоном много вавилонских башен помета.

УЛЫБКА ЗЕМЛИ

— Видали ли вы, как улыбается земля?

— Нет, не видели.

— Рассказать?

— Послушаем.

— В раннюю весну я гулял по лесному краю Саражской низменности в Прионежье. Берданка была за плечами, рюкзак пустой болтался, по подколенную хлестал, надоел что горькая редька. Думал выбросить, да опять же Авдотьи побаивался. Она у меня очень острая баба на язык, бойкая на руку. Бывало, рассерчает да по стене кулаками почнет бить. Думаю, почто она уж так-то? Спрашиваю ее:

«Ты, Авдотьюшка, почто так в стену-то колотишь?»

«Мух поганных выживаю да тараканов пугаю», — отвечает мне, а сама смехом заливается, что жаворонок.

Черт с тобой, смейся, — сам думаю, да за обе щеки картошку наворачиваю. Скусная вещь, хочь и в земле растет. Ну, да ладно, отвлекаюсь... Все ж снял я свой рюкзак, кое-как рибуши обрезаю и снова на плечи надел. Иду... Под ногами нарастающий снег чавкает, в сторонах разные пичужки песенки выводят. Вдруг тропа моя оборвалась, точно веревка лапотная, один конец есть, вижу, а другой из глаз убежал. Надо идти, а куда? В густой лес, что ль, сунуться? Снег в ту пору еще был хотя и неглубокий, но месистый, как тесто.

Наступил вечер, а затем пришла и ночь. Небо вывездило, как будто кто высыпал из лукошка свет-

ляки. Немного приморозило. Я определился в оглядку и уяснил, что нахожусь у малого Саражского озера. Рядом небольшое болотце с пригорочками. Решил помешкать у костра, а утром по мерзлому насту скореехонько стегануть до дому.

Я в ту пору был хлесткий. Головой в прорубь не суй, все равно сухим выйду! У костра было куда легче, чем в дороге, а вот хлебца не было — это уж куда тяжельше. Желудок прохудился, без пищи остудился. Под ложечкой сосет: кляп... кляп, кишки почали между собой скандалить, есть запросили. Помню, пососал я подножного мшаника, да горько стало. Одумался. Из рюкзака котелок достал, наполнил водой, стал варить кипяток. На мое счастье, в углу рюкзака нашел напойку чая, но в котелок его ссыпать не стал. В котелке чай заваривать, что уху в целом озере варить. В ложечку вложил чай — и заварка тебе, и приятность, чайком попахивает. Выпил кружечку натошак, засидел снова и вдался в дремоту, уснул.

Утром, как только проснулся, перво-наперво ружье свое, бердан, оглядел — не отсырело ли? Ничего. От мшаника ствол очистил, глянул прямо перед собой и увидел... На болотине, с огромной кочки, где сошел снег, мне, только мне, улыбнулась наша матушка земля россыпью рубиновых ягод.

Я быстро поднялся, стяхнул с себя сонливость, поплескал холодянкой лицо и бегом к той кочке. Долетел, что пчела, и стал срывать красные ягоды клюквы да в рот ложить. Крупная, вкусная ягода, я отродясь не только таких не едал, но и не видывал.

Очень приятно исподснежная клюква. Попробуйте одну — захотите другую!

ЛЕСНОЙ ТАНЕЦ

У нас в Прионежье весной и ночью светло как днем, тепло без огня, парко без веника. Бывают такие ночи, что не преминешь сказать — благоухающая, пахучая, медком-солодком потчует. Березки отпускают кудрявые бородки, черемуха, так та вся в белом пуху, осинки лениво лопочут махонькими листиками, смородинник оживает, цветик расцветает да пахучестью обдает. На поляночке да на пригорочке, что в большом пиру — песенно и больно весело.

В такую ночь я бродил с удочкой по берегам Ноздриги-реки, что спускается к Андоме-реке, а потом в Онежское озеро. Форель в тот вечер парной клевала бойко, но не она меня больше занимала, а лесной танец. Я часто оставлял удочку воткнутой в берег и выходил к березовым райкам на поляночки, слушал лесной наигрыш весны, глядел, как дятлы-короеды пляшут, коленца вышибают.

Все они в разных одежонках. Одни сплошь черные, другие с проседью по крылышкам, у третьих грудки розовенькие, а четвертые, так те носили совсем цветные платица с отделкой по подолу и крылышкам, а подгузок разукрашен у кого белыми, серыми или малиновыми точечками, а то бывают и сизыми. Дятлы часто перелетали с лесины на лесину, тетекали и заядло долбили, выискивая, по всей вероятности, древоточивых насекомых. Их танец был до изумления четок и весел. Сначала дятел долбит, долбит кору, а потом затекает и почнет кружить вокруг ствола, то

поднимаясь почти в самую верхушку сухостоины, то опускаясь до самого корня. Весь танец вокруг ствола он сопровождает теканьем да оканьем и долбежкой без умолку.

Поряду со мной низко над землей трепетал крыльями другой танцор. Он, как мне показалось, стоял на одном месте, едва касаясь ножками густой травы. Потом как-то круто взмыл кверху и, вновь опустившись, с таким же азартом затанцевал около кочки. Это была трясогузка.

После дождя земля просохла. Запахи луговых трав стали еще гуще, обаятельнее. Рядом, где я сидел на цветистом травяном ковре, вскоре заговорил коростель — предвестник зари. На ольшанике зазвенела малиновка, а ей с другого конца мыска защелкал ночной соловушка своей разудалой песенкой.

Приятно в это время быть на берегу реки и слушать многоголосую песню птиц. Приятно дышать медовыми запахами трав и глядеть, как стремительные ручейки воды пробивают своими каплями новое русло в каменной гряде. И нет у тебя в это время ни забот, ни волнений. Вся лесная картина развернулась перед тобой сказкой. Сердце радостно и мерно постукивает в груди.

Сидишь у речки как зачарованный и смотришь на поплавок, ждешь, когда начнется поклев рыбы.

НОЧНОЙ РЫБОЛОВ

Солнце скрылось за густым лесом, но все еще было жарко. Забравшись от зноя в густой черемушник, я сидел на берегу порожистой реки Нименьги и наслаждался сочным ароматом луговых трав, мирным журчанием ключевых ручейков и птичьим гомоном. Клев хариуса в этот час был незначительный, так что время для роздыха было много. Сначала ходил по берегу, наблюдая за поплавком, потом вязал букеты цветов, делал дудочки из ивняка, свистел, а когда все это занятие надоело, я смотал леску и пошел вниз по течению реки к Кондовским пожням.

Ступать по росяной траве легко. Идешь вперед, а за тобой ровной ленточкой тянется росяной след, что лунная дорожка.

У больших порогов горел костер, а около него никого не было. Дрова в огне, сухие ольшанины, горели ярким пламенем без шума и трескотни. Рядом с костром прямо на траве лежали два пестерика из бересты, несколько удочек и спиннинг. На газетном листе стоял котелок с ароматной ухой, были разложены куски хлеба, стояла бутылка. Все это говорило, что рыбаки собрались справлять трапезу зоревания, но кто-то помешал им. Где они сейчас? Я стал глядеть кругом. Вскоре неподалеку от костра, в зарослях жимолости, я увидел двух парней, лежавших враспяжку на траве. Они что-то высматривали на реке.

Я подошел к ним, нарушив рыбачий запрет. Один

из них, что первым заметил мой подход, поднял от земли голову, погрозил пальцем, прошипел:

— Дяденька, потише. . .

Повинуясь парню, я прилег на землю, на животе подполз к ним, а как сравнялся, спросил:

— Чего же вы наблюдаете?

Парень, у которого на голове уже была проплешина, шепотом ответил:

— Глядим, как выдра рыбу ловит.

— Где?

— В порогах.

— Вы уже того, видели?

— Угу. Вон там. — И парень с проплешиной на голове указал пальцем на большой серый камень, который покоился на середине плеса, неподалеку от устья ручья.

Больше я расспрашивать не стал, а лег рядом с ними и в полном безмолвии наблюдал за омutom. Неожиданно из воды на плоский камень проворно и мягко вышла выдра. В зубах она держала хариуса.

Луна вышла из-за леса, большая и светлая, полностью осветила омут с серым камнем. Выдра теперь была передо мной что на ладони. Вся ее шерстка лоснилась, отдавая неяркое свечение. Морда была тупая, гладкая, а глаза горели в ночном свете по-кошачьи. Потом выдра положила рыбину на камень, обнюхала ее и, не дотронувшись, медленно и беззвучно сползла с камня в воду и нырнула. Паренек облегченно вздохнул, с раздражением проговорил:

— Пакостит без стыда и совести, а ответа ни перед кем не несет.

Другой парень в плаще лягушачьего цвета и с носом, похожим на недорослую морковину, улыбнулся, проговорил:

— Тоже мне, рыболов...

— А вы давно тут наблюдаете за ее проказами?

— Давно, — со вздохом ответил парень. — Ужин забыли, и вот...

Он помолчал, а потом хотел что-то сказать, да не успел. Прямо перед ним, у самого берега, раздался всплеск воды, а потом на песок вышла выдра. Но эта выдра была не похожа на ту, что мы видели на сером камне. Та была рыжеватая, с ярким пятном на мордочке, а эта с шерстью темно-голубого оттенка, и хвост у этой был похож на длинный плавник. Выдра, выйдя на берег, осторожно положила рыбину и стала обнюхивать воздух. Потом она обошла всю отмель до самых кустов и, вернувшись к выловленной ею рыбине, принялась за работу. Она своей мордочкой вырыла в песке неглубокую ямку, положила туда рыбу и, зарыв ее плотней, опять скрылась под водой.

Предложив парням наблюдать за местом, где выдра только что упрятала свой завтрак, я перевел взгляд на серый камень, надеясь там увидеть вторую выдру. Но камень был пуст. Хариуса на нем не оказалось.

«Прозевали», — подумал я, но ребятам не сказал об этом, хотя знал, что они догадуются. И правда: парень с морковным носом с раздражением пробасил:

— Унесла, подлюга. Из-под носу унесла... А какой бы рыбник был!

— Так, пожалуй, мы прозеваем и ту, кою она зарыла, — в разговор вступил паренек с проплешиной и жидкими усами. — Может, нам ее того? А? Как вы на это?..

— Мы согласны...

Оба парня поднялись с земли. Они молча спустились с высокого берега на отмель, подошли к месту, где выдра зарыла рыбину, расковыряли ямку и оба пожали плечами:

— Зверек-то, дяденька, с хитрецей.

— Что там такое? — спросил я.

— Да рыбины-то в ямке нет, одна чешуя...

И действительно, на том месте, куда так старательно зарывала выдра на наших глазах, хариуса не было. Но где же он?

Может быть, кто подскажет?

Для нас это осталось загадкой.

ПРЕДВЕСТНИЦА БУРИ

Мы, старые охотники, компасами на охоте не пользовались, часов тоже не имели. Средства у нас в ту пору были скудные, так что приобрести такие штуки мы не могли. Бродили по лесу много, а блудили мало, всегда под ногами правильную тропу чувствовали. Страны света по приметам узнавали, а время по цветам-цветикам. Сейчас каждый охотник себе компас в ружье вмастерил, ему хоть что, не заблудится. Умеет и на часах свой путь определять. Однако неплохо и приметы знать. Север ищи на той сторонке, с которой старый пень больше обомшавел. По муравейнику тоже определение можно сделать. Муравьи всегда гнездят свои башенки с южной стороны дерева, с припечинки вход устраивают. Если в небе не видно солнца, гляди желтые лилии. Их у нас в ляговинах¹ прорва растет, а в речках да в озерах — того больше. Лилии время скажут. Желтая лилия всегда раскрывает свои лепестки и показывает желтый глазок вместе с восходом солнца, а белая лилия раскрывает бутон точно в девять часов утра. Желтые лилии закрывают свои глаза с заходом солнца, а белые перед заходом. Если придется вам быть в это время у озера, поглядите. Папоротник всю ночь бодрствует, а днем спит. С восходом солнца он свертывает свои листики

¹ Ляговина, ляга — травянистое, не очень водянистое болото. (Примечание редактора.)

в трубочки, а с заходом разворачивает. Да так, будто разом вспыхивает.

Метеостанции раньше тоже не было, да мы и не знали о ней, а погоду всегда по приметам определяли. Золотая вечерняя заря предупреждала о хорошем завтрашнем дне. Круги вокруг солнца — к дождепаду, а если заиграет красная заря без алых красок, то знай — свертывай удочки и ступай домой, погода испортится. Серая пелена в небе расскажет о наступлении ненастья, а сильная роса на траве — к вёдру. Дым из печных труб рафинадовым столбом ввинчивается в небо — к морозу, а весной и летом — к вёдру. Дым от костра стелется по земле — к дождю-мороку. Коль кучевые облака вышли к вечеру на прогулку — будет дождь или снег. Зяблик заговорил: «Рю-пиньк-пинь» — к накрапу дождя, а если зарюпила целая стая зябликов и беспрестанно, значит, зачужали ястреба. Ветерок дует в одну сторону, а облака плутают в другую — будет ненастный день, а перед грозой всегда парит, невыносимо душно и на земле тесно. Солнышко в тучу село — будет мелкий дождик. Ночью на небе многозвездие, а трава без росы — к ненастью. Пчелы? Они правильно предсказывают. Когда увидишь пчел роем на рябинке или на черемушке, то знай, что завтра будет ясный день, а если облепили они акации и смородинник — не спеши в лес, большой польет дождь. Когда поглядишь вечером на солнце перед самым его закатом и увидишь, что у него ушки поигрывают — выходи утром смело на покос, целый день будет ведренная погода. Есть еще много и других примет, но они очень затейливы, поэтому я обожду о них рассказывать. Походите сами по лесу, понаблюдайте за его

делами, вам скорей откроется тайна его прелести, неожиданностей, невероятностей и красоты.

Есть еще одна очень верная примета. Об ней следует рассказать подробнее. Это гагара. Знаете такую птичку-величку? Ее часто можно увидеть на озере, послушать повизгивание с кряканьем. Тем звуком она обещает хорошую погоду, а когда почнет заикаться да ухать сильным, надтреснутым голосом, выходи из леса, выезжай из озера, будет буря. По приметам гагары я хорошо с рыбой обряжался, но сначала ее побаивался. Сидишь у тростника на припечинке, ловишь окуньков иль плотву, а клев страшный, частый, еле успеваешь рыбу с крючка снимать. Заглот у рыбы плотный, с крючка не сваживается. Весело. Удишь рыбу с лодочки, любишься водной гладью, будто в зеркало смотришься, и вдруг в такой-то веселый час как гагара заушает, как затявкает басом, а потом взахлеб причитать почнет и воду будет мутить, крыльями об нее биться: страшно! Тут боязно сидеть одному на озере. Но мы привыкшие люди, ее не опасаемся и не пугаемся, но на всякий случай, как только гагара пойдет взахлеб гавкать, мы к бережку причаливаем да под кусточки прячемся: не миновать бури.

Пробовал я эту птицу убить, да долго не доводилось. Видно, дырявая она, раз вся дробь через нее насквозь пролетает. Пришел я однажды на Малое Шултусское озеро, что не так уж далеко от города. Озеро что надо, красивое, заманчивое, а посреди озера островок маленький есть, на нем смешанный лес растет, густой лес, крепкий. На островке много черники и малины. Деревенские ребята там ягоды собирают, ну а мы, рыболовы да охотнички, туда на ноч-

лег пристаем. Там есть где от непогоды укрыться, да и дров-сухостоя много, особенно ольшаника, а от него всегда пахнет щами из вяленой говядины.

Сижу я один раз у «черной курьи», а порядку со мной густой очерет шумит. Клев рыбы заманчивый. Окунь проголодался, на крючок стал попадаться, да и подъязки не отступались, поклевку съедали. Вдруг рядом со мной, около кусточка, тростник закачался, потом оторвался кусочек его и на середку озера поплыл. Что за диво дивное? — думаю я и веду наблюдение. Потом вижу — из кустика тростникового черный кончик торчит — это хвост виляет из стороны в сторону, будто руль поворота. Что за чертовщина? Опускаю удочки на воду. Поднимаю грузило, что лодку придерживало и, этого-того, за кусточком на своей лодке плыву. Близко к кусточку подъехал и вижу — из кусточка гагара выплыла и все шипит, гогочет, ухает. Я к ней ближе. Ружье нацелил. Гагара рот открывает. Спуск курка нажал, грохот раздался, дымок пошел, а как поглядел — никого. Гагары на воде нет. Куда делась? Почал по сторонам высматривать. Вправо нет и влево нет, спереди тоже гладко, а сзади зеркало блестит, а она недалеко от моей лодки справа вынырнула, а под крылышками две головушки торчат, будто два мотора на самолете поставлены. Я опять на нее нос лодки направил, а как ближе стал подъезжать, увидел, что под крыльями у нее спрятаны детеныши-недоростки. Вот, думаю, какая ты смысленая. То ей не говорю, а так про себя думаю. Потом ближе к кусточку тростника подчалил. Увидел там гнездо, справное гнездо. Пух, мошок, мелкие веточки

и скорлупа яичная, серая. Вокруг тоже рыбы головы валяются, — видно, детишек кормила. Все сделано умильно, заботливо.

И, несмотря на это, захотелось мне все ж гагару убить, перехитрить, чтоб людей она больше на нашем озере не пугала да бурю не кликала. Ездил я за ней целый вечер и утром гонялся. Восемь раз бабахнул из ружья, а все мимо. Почему? Долго об этом думал, а потом порешил, что это умное водоплавающее живое существо, его не убьешь. Случалось, что подъеду к ней шагов на тридцать, а как выстрелю — гагары нет, и выныривает с другого бока и все хохочет: «Га-га-га...» Было и так. Нажимаю спусковой крючок: цель на мушке точно обозначена, а как дым рассеется — цели нет, под воду упряталась, а как выныр сделает, засмеется: «Осел ты, а не охотничек. Где ж тебе меня картечиной взять? Меня снаряд в войну лупанул, снаряд утонул, а я все живу». Ну, думаю я, теперь-то ты мне так надоела, что изобретательством займусь, умом наоструюсь и тебя ухлопаю. Тогда гоготать перестанешь.

Но она, прорва, все гогочет и гогочет и переставать никак не хочет, а перед бурей — так просто бессердечно ругается. Хотел я бросить эту затею, да совесть не позволила. Если принял команду — не изменый, выполняй.

Погоня за гагарой изнурила меня. Выехал на бережок, костерик разжег, уху сварил. После ухи чайком побаловался, да тут меня и сон одолел. Притулился к березке и задремал. В такой дреме слышится мне чей-то голос: «Ты, Кирька, гагары не убьешь, она тебя зрячей. Ты починаешь нажимать спуск у ружья,

а гагара уже заметила, когда выстрел, ее на воде нет, она уже нырнула. Ну, где тебе ее убить?» Приснул, глаза открыл, вокруг огляделся, никого, везде тишина, только ветки ивняка промеж собой шепчутся.

И надумал я после этого прицел в гагару делать через зеркало. Оно всегда со мной, в охотничьих шмотках его таскаю для всякого случая, но особенно для приведения в порядок лица и волос на голове. Весь день я занимался изобретательством, а к вечеру смастерил. Ружье на нос лодки в развилки приладил, шкворень закрепил, да на корме маленькое зеркальце установил, а потом поставил нос лодки, на цель навел и стал практикой заниматься. Отмерил порядочное убойное расстояние и к очерету березовую губку положил, вроде бы цель на воде. Отъехал от нее, сам в лодку лег, чтоб не видно было, и в зеркальце стал поглядывать да тихо веслами подгребаться. Из лодки через зеркало мне хорошо видна цель. Так прицелился несколько раз, из ружья хлестанул. Добро. Ружье не покачнулось. Цель вдребезги.

Вечером выехал на охоту за гагарой. Ее нашел на старом перешейке у впадины малой речушки. Там плавала одна и помалу гоготала, будто опять хохотала, а как меня увидела, то удирать стала. Я опять в лодку лег, ее направляю, а сам в зеркальце поглядываю. Славно придумано. Патент бы тогда надо было взять, да леший из лесу ушел и сказали, что не вернется. Вижу — гагара на ближний перешеек подпустила, я наводку ниткой сделал и, этого-того, хлестнул по ней картечью. Выстрел треснул. Дым рассеялся, а гагара... Распустила оба крылышка, будто к взлету приготовилась, да не смогла, подбиты кры-

лышки, размозжена головушка. Тут я ее и подобрал. У, как пухаста, малобрюхаста, но совсем несъедобна. От нее тиной пахнет.

Таким же побытом я освободил от гагар еще много других озер. Мне ребяташки спасибо сказали. Многие этому могут не поверить, но каждый из охотников по-своему похлебку варит, по-своему хлебают ее да концы у костра загибает. Слышать об этом я не слыхивал, а делать дельвал. Добро получается. Хотите испробовать? Приезжайте к нам в лесную тишину — вспоминать старину.

Этим летом довелось мне побывать на речке с грустным названием Прорва. Кто ей дал такое имя? Мы не знаем. Но должен вас предупредить, что речка такого названия не заслуживает. Не зря ее берега облюбовали для пионерского лагеря, хорошо там ребятам! В том месте, где речка круто пересекает большой Каргопольский тракт, в изгибе шумящих водопадов да порогов, по обеим сторонам ее разметались в нарядных пеленках маковые поляночки да березовые райки в голубом наряде. Среди этих поляночек да раек понастроены домики, что игрушки, привлекательные. В тех домиках живут пионеры. Отлично живут, весело. С песнями по утрам встают, днем скусные супы да щи едят, какаоом запивают, а по вечерам в футбол бегают, а то и спектакли устраивают.

Неспокойный характер нашего председателя колхоза привел его ко мне на пасеку.

— Кирилл Петрович, — серьезно говорит он, — начальник пионерского лагеря тебя на денек к себе требует.

— А это еще зачем? — спрашиваю я у председателя. — Сейчас медосбор начнется, а я по «Салютам» кататься буду? Не могу.

— На один денек, — уговаривает меня председатель. — Там ребятishкам прочтешь лекцию о медосборе, о переноске роев пчелиных и так далее. Они тебя там напоят, накормят и домой проводки сделают.

Кроме этого прочего ты им на практике покажешь, как соты устанавливать в ульи и так далее.

Я подумал, подумал, да и согласился:

— Коль так, то давай твой трандулет, я живо слетаю в «Салют». Что и как делать покажу, да и на ребяташек погляжу.

В мгновение председатель свой трандулет подкатил, меня проинструктировал, что и как правится. Конечно, я на таких мотоциклах не только с шиком по прифронтovým дорогам ездил, а бывало, что носом землю ковырял да в грязи валялся. По нашим дорогам теперь ездить можно. Дороги пообгладились, пообсохли.

Сел я на тот трандулет, председателю рукой махнул, да и катнул на полную катушку. Так ехал до собачьих перелазов, там в сторонку свернул да через мелкие поляночки по тропе проехал и быстро к месту заявился.

В пионерском лагере меня встретил трубач. Мальчик лет тринадцати в светлую трубу играл забавно, будто выговаривал: «Здравствуй, дедушка Манос, мотоцикл тебя привез...» и тому прочее. Остальные ребяташки, наряженные в опрятные одежонки, руками меня приветствовали, салют отдали. А потом начались попойки. Сначала я пил сметану с сухарями, потом какао с печеньем, затем черный кофе вприкуску сахара, а уже после чай. Как все деловые разговоры с начальником лагеря окончил, к делу приступил. Сначала с ребятами ульи в порядочек установил, сотами зарядил да ребят научил, что и к чему прилагается и как делается. Ребята дымарем не умели пользоваться, пришлось и эту науку им преподать.

Такое дело затянулось до позднего вечера. На насеку к Сараже уже опоздал. Мне начальник и говорит:

— Ты, Кирилл Петрович, не спеши, погляди, как отдыхают наши малыши.

— Да, — отвечаю я начальнику. — Дюже добро отдыхают, не то что мы раньше отдыхали.

И тут я стал вспоминать свое детство и никак не мог его вспомнить. Подумал: было ли оно у нас? Как будто бы и было и не было. Так, мимо нас проскочило, мышкой пропищало, журавлем прокричало. Больше мы ничего не видели и не запомнили. А сейчас малышам будет что в старости вспомнить. Хорошо малышам, душа радуется.

Утречком опять попойка. После завтрака и попойки я к своему трандулету пошел, заводить его стал. В это время подбегает ко мне группа пионеров, и ласково одна девочка говорит:

— Дорогой дедушка Манос, наш старший товарищ, звеньевая первого отряда, тебе подарок прислала, пойманного вчера ежа, — и сует мне в руки настоящего живого лесного ежа.

— Еж так еж, ежели не врешь, — отвечаю я.

— Он еще не ученый, темный он, — говорит та девочка, а сама улыбается. — Гляди, дедушка, чтобы тебя ежик не уколел, как ножик. Он колючий.

— Ладно, — отвечаю я, а сам опять же спрашиваю: — Чем его кормят?

— Он, дедушка, все может есть: молочко, сметану, мясные котлеты, косточки от свежей рыбы.

Я в затылке почесал. Малость поразмыслил, ответил:

— Молочко найдется, рыбные косточки тоже, а вот

котлет до зимы не будет. Мясорубка еще не заведена, а те, что у нас сельмаг продает, — тупые, ржавые. Маленько обожду. Может, новый завод будет, а то эти-то мясорубки уже лет пятнадцать как в магазине на верхней полке в пыли валяются.

Промолвил я все это, гашеткой газ трандулетинову мотору дал и покатил, аж волоса приглаживались. Скоро на пасеку прибыл. Там все в порядочке. Ежа в избушку занес, молока на блюдо налил, туда хлебушка покрошил, в кутец поставил. Ешь вдосталь, наслаждайся нашей добротой. Сам ушел с пчелами обряжаться да мед стал выжимать. Много меда навывжимал, а как в избу вернулся, там непорядки нашел. Мой приемыш все шмотки перемял, новые полуботинки в пущих местах продырявил, одеяло замарал. Я почал его искать для наказания. Долго искал. Нашел в своем охотничьем рюкзаке — спит себе и в клубок свернулся. Занятно. Носик под себя подобрал, лапки подогнул, а иглы у него в ту пору были мягкие. Я только рукой по нему провел, как те иглы шильями встали и почали кусаться. Еж выпрыгнул из рюкзака, на меня зашипел. Я его снова молочком потчую. Ест, не сердится.

Так я с ежом промаялся все лето и осень. Все бы хорошо, да по ночам больно бесится. Только начнешь засыпать, огонек угасишь, как он в чехарду сам с собой заиграет, да так, что по всей избе стукоток пойдет. Бойко бегаёт, стучит, что колотушка. Как до газеты или до книги дорвется, считай пропало, всю на клочья изорвет.

Через месяц, как я его принес, еж обжился. Тогда я его стал на улицу выпускать. Думаю: убежит так

убежит, а живности все ж хочется свежим воздухом подышать. Ничего. Мой еж первую неделю справно возвращался и всегда точно к обеду. Поест молока или рыбьих косточек, глядь — уж дрыхнет без всякой заботушки. Однажды ежик, видно, далеко ушел, к обеду не пришел. В тот день я один обедал. В паузну тоже не вернулся. Я хотел было идти его искать, кричал его:

— Зазевинка. Подь сюда, я тебя молочком угощу. Но еж не приходил.

И только поздним вечером еж вернулся в избу. Я окончил ужин, сижу на досуге, покуриваю, по сторонам поглядываю да к лесу прислушиваюсь. Вдруг слышу, будто в траве кто-то семечки шелушит. Вгляделся. Это мой приемыш волочется еле-еле и на своих иглах какую-то тварь несет. Оглядел я его и обомлел. Как же он сумел одолеть такую лесную крысу? Это была водяная крыса, рыжая, продолговатая, брюхастая. Часть, что помягче, порвана. Это мой ежик обедал. Остальную часть на ужин домой приволок. Оставил крысу у корневища березки, а сам к избяным дверям и почал лапками стучать: «Отворите!» Не кричит, а думает. Я ежа в избу пустил, молока дал, а он косо на молоко поглядел и спать в рюкзак пошел. Дрыхал всю ночь и полдня следующего, а потом опять в лес на ремесло пошел. И так каждый день. Гулял, сколько хотел, а домой возвращался. Видно, крепко к деду прижился. На каждый мой крик: «Зазевинка, домой!» — он коlobком катился.

Наступили осенние холода. Я пчелиные ульи на зимовку, в надежное место обрядил, а сам в деревню вернулся. Зазевинку с собой принес. В избе на пол

его спустил. Моя Авдотья, как увидела того ежа, чуть в обморок не упала, загомонила на меня:

— До старости дожил, а ума не накопил! Зачем такое дерьмо в хоромы приволок? Кинул бы в лесу, и точка.

Я Авдотье отвечаю:

— Несусветная ты женщина, хорошего не понимаешь. Ложись себе спать, утро вечера мудренее.

Больше ничего не сказал. Сам с устатку чайку попил, шей мясных похлебал да вдосталь Зазевинку накормил и спать в запечник уложил. Там ему подстилочку из старого овчинного тулупа сделал. Тепло и мягко, добро и безобидно. Сам после этого на лежанку лег. Авдотья поворчала, поворчала, да видит, что с ней никто не связывается, так утихомирилась, на кровать легла и сразу в храп пустилась. Я тоже круто уснул. Спали в ту ночь мы крепко. Утром разом проснулись. Как только моя Авдотья лампу электрическую включила да свет ее по избе загулял, почала смеяться да ахать:

— Господи боже мой, милостивый-то ты какой! Гляди-кась, Кирилл да свет Петрович, что наш Зазевинка наделал.

Я посмотрел на пол избы и тоже в восторг пришел. На полу кучка мышей навалена. Я без стеснения стал мышей считать, насчитал больше чертовой дюжины да к Авдотье:

— Это ты всех порасплодила, а мой приемыш Зазевинка их изничтожил. Его не ругать надо, а благодарить, а то и премию вроде лишней порции отварного мяса в сметане выдать.

В тот же день моя Авдотья свою кошку-воровку

об угол головой, да в снег выбросила, а ежика полюбила. Так с тех пор Зазевинка и остался с нами. В теплые времена года со мной на пасеку идет, там помогает, а зимой в деревню возвращается, закутное место занимает. Наш ежик всем вам поклоны посылает, да больше трудиться вам желает, а того больше учиться. Сейчас время приспичило научное. Без знаний ни туды ни сюды, ни в поле ни в огороде.

СЛОВО ЛЕСОЛЮБА

Бывали ли в нашем Пятницком сосновом бору? Не бывали. Грустно. Такой бор нельзя пройти стороной. Послушайте. Как могу, так об нем и поведаю вам. Есть в том бору светлое озерко и часовенка, а дороги к ним две. Можно пройти из деревни Махачево или из Тудозера, а ежели напрямиком, то по Косой тропе. Она выведет как раз к озерку. Стоит там часовенка, заросшая мхом. Но красота ее до сих пор сохранилась, чудесная резьба. Говорят, что ферапонтовские мастера ее строили. Никто, конечно, из нас точно не знает, когда она была построена, но былины о ней до сих пор живут. У нас рассказывают, что сотню лет тому назад был большой пожар. Горел Благовещенский монастырь на Андомщине. Монастырь был большой, как наседка среди ошипанных цыплят, стоял он в верховьях реки Андомы. Будто бы из церкви во время пожара вылетели три ангела и, разлетевшись в стороны, каждый сел в заказанное ему богом место. Один ангел с подпаленным крылом не мог дальше улететь и упал на землю около большого, светлого ключа в бору. Поэтому ключ назвали Светлым, а по-посля тут вырыли озерко, а сосновый бор назвали Пятницким, так как ангел упал в пятницу. К этой часовенке ежегодно в июльскую пятницу собираются богомольцы для того, чтобы умыться святой водой. Богомольцы сначала искупаются в этом озерке, потом наполнят склянки святой водой и несут их домой для исцеления своих недугов.

От часовенки открывался благодатный вид на Пятницкий сосновый бор. Великаны сосны толпились у безымянного ручья, разливая краски на все четыре стороны. Вершины сосен подпирали небо. По обе стороны ручья в весенний разлив играли косачи, наполняя ложбину и весь бор песенным наигрышем. На гладких черничниках да брусничниках в сосняке густо и красиво щелкали мшаники, выговаривая свое сдвоенное «док-док...», а за перевалом бора, в узком болотце, славили весну журавли.

Теперь же бор ушел с лица земли. Его увели бензопила «Дружба», трактор и автомобиль.

Я первый раз в жизни устал глядеть быстрее, чем устали ноги, когда переходил Пятницкий бор. Я долго прислушивался к говору певчих птиц — и не услышал. Хотелось испить студеной воды в ручейке — и не нашел, вода высохла. Видел я в Пятницком бору около старого искоря стадо муравьев, и по тому, как они бойко работали, я понял, что и они оставляют насиженное место, прокладывая себе путь к полесью. Куда же подевалась живая душа из такого прекрасного места? Так-то, люди добрые. Молчите. Ну что ж. Бог с вами. Потерял Пятницкий бор свою голубую тюбетейку, раздели с него и зеленую шубейку, которая тепло принимала на свою мягкую зыбь путника. Скоро тут не будет ни единой травинки, и наш деревенский скот не пойдет в это проклятое место. Я запомнил тот бор. Он занял в моем сердце положенное место. Когда-то я на подошве срубленной сосны плясал да девкам веселые песни пел. Красивые места были. А что теперь? Тут баньки не построишь, веничка с мягким листиком не возь-

мешь, помела стряпухам не принесешь. Вот как сделано.

Нынче мы вот рубим лес не топором, а моторной пилой, возим не на коне, а тракторами да автомашинами и все кричим: «Мало! Мало! Даешь лесные угоды! Нам, нашему строительству нужны кубы деловочника, пиловочника, пропсы, тюльки и тому прочее...», а сами не замечаем того, что расход леса поднялся на три головы выше его прихода, а вырубки не засеиваем и ждем, что все само уродится. Мы кричим, что надо взять у природы все, а сами палец о палец не стукнем, чтобы помочь матушке природе вырастить новые леса, да такие благодатные, как был Пятницкий бор. Если и дальше так пойдет, то оставшимся жить на священной земле негде будет тюкнуть топором, негде поохотиться, негде половить рыбу. Так-то, дорогие мои.

Я рассказываю вам это для того, чтобы вы поняли и помогли природе. Прошу вас: не оставляйте детей без зыбки. Не выносите их из колыбели игр в медок-солодок. Пусть в их воображении живут великан-леший в ссоре с бабой-ягой, за то, что она посмела в своей ступе истолочь молодые черемушки да сломать для веника куст смородинника.

Попервоначалу я днями ходил по лесу и, скажу вам, ничего особенного не примечал. Вижу, стоят лесины да покачиваются на ветру. Ну, думаю себе, и пусть с богом качаются. Мне-то какое дело. Сяду, бывало, на кочку иль на пенек, прислушаюсь. Пищат в кронах разные пичужки залетные, долбит дятел, цвикает сорока — ну и пусть, думаю, пищат, долбят и цвикают. Было у меня смолоду какое-то безразличие

к лесу. Позже, когда меня мой покоенок батя поставил под березку да говорит: «Ты, Кирька, послушай, как занятно листики лепечут», — я прислушался и диву дался. Правда, такого я еще никогда не слышал. Батя мой и говорит: «Это, дите, к сухой погоде, а ежели листики зашелушатся да почнут жужжать, то к ненастью». Вот с тех лет я и полюбил наш русский лес. Страсть как полюбил.

Ружье у меня все время было, но стрелял я только вовремя и во что положено. Ворон, тех не щадил — это поганая птица, чужие гнезда разоряет.

И еще скажу вам, дорогие мои, остерегайтесь ложношляпных строчков. Не принимайте их за сморчки, которые даже и зимой дают весенний аромат. Строчок не любит ольхи, стесняется осинки, убегает из-под ивняка и рябинника. Ему дай нашу карельскую матушку березку, поющую елочку да корабельную сосенку.

Любите серебристый колокольчик — майский цветок. Этакую прелесть даже наша пчелка и та бережет. Она ни в жизнь на такую красоту не сядет.

Вот так-то, милые мои. Больше баять-то я уже не могу. Устал. Пора отдохнуть и вам и мне.

Почему те, а не эти? Этих я не слыхивал и не видывал, а вот те-те-те доводилось в руках держать и молочком поить. Премилое существо те-те-те, жаль, что слишком большой баловник. Часто в разбой пускается да портит наше крестьянское добро.

Дело было опять же весенней порой и на вечерней зорьке. Вечер в то время был теплый, парным молоком обдавал да ко сну посылал. Но разве пойдешь ко сну в этакий песенный наигрыш, как в наших лесах. Вся птица летит на северные земли в хороводах плясать да детей выводить. Любы всякой птичьей мелюзге наши березовые райки, наши сосновые бора и речной черемушник проседью, кусточки с почками, — это ж для всякой лесной дичины еда, настоящая скатерть-самобранка.

Пришел я под вечерок на Игральную поляночку, чтобы послушать веселую песенку лесного красного куличка. Выбрал удобное место под кудрями березовых крон. Сел на ее главный корень, как на приступочек, осмотрелся. Кругом все поет, играет, посвистывает да трелькает, а в ложбине по-над рекой Ноздргой куличок плывет, будто сказочный ковер-самолет летит. То вправо заберет, то влево отвернет, то прямо и вниз подастся, а клюв к земле направлен, будто нюхает, а сам поет: «Квор-р-р... Квор-р-р... Квор-р-р... Цвист...»

Вот так плывет, попеваает да крылышками легонько помахивает. Я взял того куличка на мушку, а выстре-

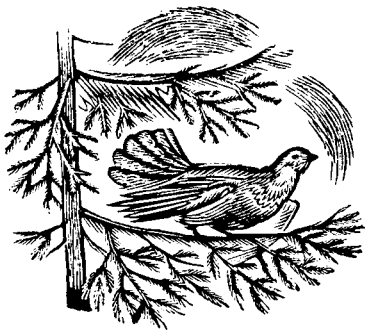
лить забыл, залюбовался. Стал другого поджидать. Знал, что все равно прилетят. Вдруг слышу песню другого куличка. Он больше цвистит, чем кворкает, и все в круги над поляночкой ходит, будто в хоровод подругу заманивает. Я опять взял его на мушку, выстрелил... и мимо... Другой певец помешал. Над моей головой кто-то жалобно заплакал, затекал, а потом, когда я глазами в березку съездил, вижу — падает с лесины птенчик, не велик, да и не мал, так с мой кулак будет, а то и вроде вылупленного цыпленка — не инкубаторского, а всамделишного, из-под настоящей курицы. Цыпленок крылышками бьет, хочет за лесину зацепиться, да не тут-то было. Упал и прямо ко мне в шапку угодил. Шапку я успел подставить для него, как увидел его падающим с лесины. Погладил я того птенчика, а какой он породы, так и не мог в то время узнать. Весь он в ту пору был желтенький, с чуть заметной сединой на грудинке, да на крылышках серенькие полоски с красной отделочкой. Спервоначала я хотел его бросить, да жалко стало. Боялся, что не выживет, а к матушке не попадет, да и могут его за милую душу стервятники сожрать. Положил я ту птичку в рукавичку на мягкий мшаник и домой принес.

— К добру или к худу? — вынимаю из рукавицы я ту птичку и матушке показываю. — С лесины упала, чуть было не зашиблась, да я шапчонку свою вовремя с головы снял и птенчику предпочтение для снижения в нее сделал, да вот — видишь сама — и домой принес.

Мать поглядела птичку, пощупала, погладила и умиленно отвечает:

— Коя желтенькая да с серо-белыми полосками — к добру, а коя черная — к худу. Давай, сынок, ее молочком поить.

Налил я в блюдечко молочка, поднес его к клюву птички — и что вы думаете? Она как будто век молоко пила, сразу стала клюв в него опускать, шею вытя-



гивать да молоко попить. А когда досыта наелась, я ее на пол спустил, и она скоро убежала в запечник и там не так уж часто, но и не очень редко стала шипеть, о себе стала весточку подавать. Так с той поры эта птичка и стала у меня жить да поживать. Через неделю подлеты стала делать да носом стенки с обоями поклевывать. Как сядет на стенку, зацепится коготками за обои и ну носом долбать, да так, что обои стали отлетать и крошки от дерева посыпались. Тут я и назвал свою пичужку добрым именем Долбанем. Скоро и к кличке привыкла, а потом стала крупки просить, а опосля сухари да хлебушек стала есть.

Еще через неделю мой Долбанем перестал шипеть, когда на избу выбегал, а стал текать, да так задорно, что, когда текает: те-те-те, хвостиком играет, крылышки расправляет, острый клюв раскрывает. Премило и задушевно-смешно. Глядишь на него и думаешь, что вот ведь какими живыми существами

наградила природа наш северный лес. Они и в лесу живут, и на подворьях приживаются, тоже не убегают и не улетают. К нам с матушкой привык, как малое дите. Бывало, я выйду в заполье, а Долбанем сядет в избе к окошку и на улочку поглядывает, меня высматривает, а как завидит, что я иду, захорохорится, ножками затопает, клювом застучит, крылышками запорхает и затекает. В избу вхожу, а он меня тете-каньем встречает, да на плечо ко мне садится и носом о мою щеку начинает тереться, — значит, ластится. Полюбились мы друг другу, и жалко мне его стало. Утром Долбанем подчастую меня будил, и всегда вовремя. Взлетит ко мне на лежанку, сядет на одеяло и давай на нем фокусы выковыривать да с цвистом текать. Ну как тут не проснешься!

Так жили мы втроем долго.

Пришла сенокосная пора. Нам с матушкой надо на покосы идти, а не знаем, что делать с Долбанем. Не возьмешь же его с собой в леса: улетит, покинет нас, осиротеет. Днями мы его оставляли в избе. Скучал ли он, не скучал ли, этого мы, конечно, не знали, не видели. Только, приходя в дом на ночевку, стали замечать, что все полати будто долотом издолблены, а на оконных переплетах появились отдушины, будто для пропуска снаружи воздуха. Однажды вернулись мы с матушкой с покоса, где стоговали сено, мать на кухню прошла и ахнула:

— Боже ж ты мой, что дьяволенок наделал. Всю квашню исклевал. В чем же я тесто буду замешивать? — Потом поворачивается ко мне и говорит: — Сынок, да ты ж в дом дятла принес.

— Надо полагать, — отвечаю я. — Раз носом все

долбаёт, то иначе и быть не может. Не зря же мы с тобой ему имечко Долбанем дали.

— Выкинуть его из избы надо, — советует мне матушка. — Снеси его в запольский овражек, пусть себе на воле летает да долбаёт. Может, матушку там найдёт?

— Жалковато, матушка, дите бросать, — отвечаю я ей.

Мать смеется:

— Было дите, да повзросло. Пора своим трудом хлеба добывать. Будет задарма кормить, а то, чего доброго, еще среди птиц тунейдцев нарастим.

Согласился я с матушкой. Взял того Долбанем в руки, для всякой важности глаза тряпицей перевязал и снес его к Симкину ручью, а там тряпицу с глаз снял и отпустил на все четыре стороны.

Долбанем взлетел и как будто в радостях затекал. Сразу на большую ольшину подле меня сел и почал ее долбать, да так, что от бедной лесины щепы полетела. Поглядел я чуток на своего приемыша и отбыл восвосяи доложить о содеянном матушке. Только я в избу вошел, стал матери рассказывать, как в окошко стукоток раздался. Поглядел я и заулыбался. На приступочке рамы мой Долбанем сидел и в окошечко глядел.

— Запустить, что ли? — спросил я у матушки.

Та поглядела на дятла, сморщилась и отвечает:

— Полати издолбил? Издолбил. Квашню испортил? Испортил. Оконные переплеты тоже подолбал? Подолбал. Ну, куда ж его, порченника такого? Куда?

Матушка в не в дух вошла, заплакала. Я глядел, глядел да на крылечко вышел, а Долбанем прямо

ко мне на плечо сел. Я его так и этак стал уговаривать: улетай, мол, дурашка, в свои леса к сородичам, там вольготней, чем у меня на подворье. Будто послушался. Взлетел и в овраги полетел. В этот день больше не ворочался.

Сенокосная пора, страдная пора, некогда прохладиться да в избе чай распивать, роздых делать недосуг. Несколько ночей провели в лесных избушках. Потом вернулись в деревню. В избе нашли полный порядок, только в левом крыле избы у первого окна нижнее стекло рамы выбито. Матушка поглядела то место и говорит:

— Ребятишки камнем набедокурили.

Так по крайней мере подумал и я.

Наш приемыш больше не появлялся. Прошел, может быть, месяц, а может быть, и больше. Мы с матушкой на колхозных пожинках день урожая справили, а потом стали избу к празднику убирать. Я стал портреты от пыли обтирать. Дошел до родового портрета: еще в прошлом веке в Вытегре фотографировались мои папаша с мамашей да дедушка с бабушкой. Снял я тот портрет, и из-за него мне под ноги свалился небольшой комочек. Поднял его за какие-нибудь ценные бумаги, а как поглядел и обомлел. Тот комок оказался нашим приемышем. Сложив крылышки и клюв под грудинку подогнув, Долбанем спал вечным сном. Так уж, видно, у них ведется, где повзрослел — тут и захирел.

А мне до сих пор его жалко.

НА ПРИПЕЧИНКЕ

— Снег весной гаял так быстро, что я не успевал за ним гнаться. Я гонюсь за ним, а он убегает, кочки на пожнях да на полянках оголяет — удержу ему нет. Дождика тоже нет. Солнце светит, полянки, пашни, пожни и леса греет. Набухли почки у ивы, на березках стали лопаться. Появился первый маленький лист. Не зевай, охотник. Если у тебя ноги от зимней охоты не прохудились, то бегом беги на тетеревиные да глухариные тока.

И пошел я в то время на ток в большое Спорное болото. Ягодное болото. Знал я там и выжимки глухариные. С осени углядел, а в марте проведал. Тогда там много сосновой иглы было, да и помету уйма. Добер был шатер сосенок среди болота. Стоят румянятся да иголками потренькивают, будто на балалайке играют. Вокруг болото, сухое болото и ягодное. Холеное место для глухариного тока. Шишки хоть отбавляй.

Постоял вечерком в том бору, прислушался. Глухариную песню услышал. Играет, паршивый, да подруг к себе заманивает. Раз и два. Под его веселую игру подход к нему делаю. Скок и стойка, стойка и скок. Иногда шаг шагнешь, а иногда и два отмеряешь. Можно бы больше, да дальше песня не пускает. Вот так и мытарил с вечера до утра. Четырех глухарей-мшаников в мешок уложил. Тулочка и на этот раз не подвела. Берегу ее и после каждого выст-

рела тулякам спасибо говорю. Ружье что надо: хлесь и...

Утром солнышко заиграло, припечинку сделало. Вокруг меня такая певучая игра пошла, что не скажешь. Красивая игра! Я вышел из болота на небольшую лесную пропешинку, выбрал сухое место, сел. Захотелось курить и немного ногам отдых дать. Горло бы полагалось на крови прополоскать, да пробка на ходу у продухта вылетела, и он весь расплескался, мешок смочил. От него и сейчас еще воняет. Ну, это ничего. Снял я свой маскхалат, постелил его на мшаник под сосенку, а глухариков на валежинку примостил, чтоб в глазах были. Прилег на землю и сразу уснул.

С устатку хорошо спится. Не знаю, долго ли я так прохладжался, как слышу: мою обутку кто-то рвет да терзает. Был я в ту пору в лапоточках. Теплее в них. Вода там не задерживается, а если обуешься с сеном, да шерстяной портянкой то сено обернешь, тогда и совсем хорошо. Лапти мои в дороге прохудились, и кое-где березовые заплетки вылезли наружу, сено тоже выглядывает из них. Открыл я глаза и вижу: два рыжих медвежонка грызут те заплетки и хоть бы что, ноги мои тревожат, и им весело. А мне не до веселья! Лежу и соображаю, как бы от них скорее отделаться. Ружье приглядываю: где оно у меня поставлено? Увидел. Недалеко от меня на земле валялось. Такое я еще никогда не делал. Это с устатку. Легко рукой протянулся, нащупал ствол и к себе потянул, а сам все думаю. Отпихнуть медвежат нельзя, закричат, а матушка услышит тот крик — беда тогда! Только я об этом подумал, как увидел — прямо передо мной ме-

трах в шести-семи сама лесная королева Машка в буром халате стоит у валежины и моими глухариками завтракает.

«Стерва!» — чуть не крикнул я, да вовремя сдержался. Нельзя в прорубь головой лезти, когда можно сначала ногами попробовать. Стал ждать, что и как пойдет дальше. А медведица? Рывкнет, чавкнет да хрустит глухариными косточками. Ей вкусно. На готовое пришла. А мне? Я за патронташ, соображаю. В заднем карманчике у меня всегда жаканы заряжены. Пощупал и сразу духом стал упадать, карманы были пусты. Видно, патроны с жаканами дома забыл. Грустно. Опять же лежу и соображаю. Буду тише травы и ниже мшаника. Ежели она пойдет на меня приступом, то дублет картечью прямо в лоб, и тогда...

Медведица закончила свою трапезу, с моими глухариками справилась отлично и пошла сытая в даль лесную. Медвежата оставались пока при мне. Хотелось сунуть им по-настоящему, да побаивался, вернется медведица — бока намнет. И правда. Медведица вернулась, рывкнула на детишек и снова в лес. Медвежата услышали материнский приказ, последовали за ней. Я полежал еще несколько минут, пришел в охотничью степень, вскочил, взял ружье и — хлесь дублетом.

- В кого же?
- В воздух.
- Зачем?
- Для остротки.

С ПОПОМ, ДОРОГОЙ ОХОТНИЧЕК!

Осень в тот год стояла сухая, ведренная. Солнца было так много, что наши мужики все удельные покосы обшарили да большегрузные стога сена наставили на редкость. Бывало, идешь по берегу реки Ноздрега, а ноги все время путаются в сочном коровьем корму. Осенью прибрежные луга так с травой и под снега уходят, а теперь все по-иному.

После бабьего лета подул западник и началась морока. Большого дождепада не видно, так себе — одно наказанье, частит, частит, будто вода льется через мелкое сито, ни шатко ни валко, с горем пополам. Дождевых капель как будто и нет, а фуфайка мокрая — выжимай да суши. С кепчонки тоже рыжие капли по лицу сползают. Но больно добро в такой грибной день стоять на берегу порожистой речки со студеной водой да ловить торпицу иль корбеницу — изюминки, а не рыба. Вода в такие дни бурееет что кофе, раскидисто ворочается в омутах, звенит в падунах, что в шаркунцы брякает. А рыба? Она в таком кофейном царстве себя королевой чувствует, плещется, никого не боится.

В такой день я стоял на берегу реки, близ Кивручейского моста, не торопясь пересаживал на крючке червей. Клев был еще не в разгаре, а так — одно баловство. Забросишь леску, поплавок сразу на дно ткнется, рванешь с подсечкой и... пусто, а не густо. Червяк обглодан, конец крючка оголен, а торпа входясь вертится, будто смеется.

Так было до полдника. Потом настал настоящий клев. Ни единого промаза. Леску в воду, хлесь за удилище — и на берег летит подцепленная крючком серебристая рыбина с звездочками по бокам.

Закурить в такой клев некогда. Мотаешься так с удилищем, что мотовило, устанешь, а иногда и вспотеешь вот как. Снял я под вечерок с себя рюкзак с рыбой, повесил на березовый сук, рядом поставил дружка-приятеля, тулку двухстрельную, под корень положил бутылку с козьим молоком, и стало самому блаженно и много легче. После этого я ближе к воде стал подтягиваться. Прыгнул на один искырь, который торчал из воды, проступился и подался на упавший хлыст да тут и сел. Было удобно, что на стуле: сиди себе да забавляйся. Червячки в мешочке на шее висят, банка с вьюнами у ног стоит. Приятность.

Ловлю рыбу, размышляю, какие из нее жаркие моя старуха будет делать, и слышу неподалеку от себя, кто-то чавкает. Оглядываюсь и своим глазам не верю. Под той березкой, на сук которой я повесил рюкзак с рыбой, стоит медведь и рвет парусину, а как разорвал — почал рыбу есть с запоем. Ну, думаю, черт бы тебя взял, и хлесь в медведя еловой шишкой, что под ногами болталась, на земле отлеживалась. Думал, что медведь испугается и убежит, а он и в ус не повел, поглядел в мою сторону, лапой погрозил: мол, нече тебе смеяться надо мной, и ест себе выловленную за сутки мою торпу. Скусно ест, аж сопит и тяжело дышит. Я в него снова шишкой кинул да гавкнул что дворняжка, сижу, гляжу и про ловлю забыл. Медведь хотя и был сильно тощий, не великий, а все ж зверь. Память меня может. В случае отступления

для ног дорожку приглядывал. А он? Съел весь мой дневной улов, рывкнул, — значит, спасибо сказал, да как развернется и хлесь в меня пустым рюкзаком, а я за ружье. . . Но его поряду со мной не было, под березкой ружье стояло.

Вижу. Медведь постоял немного, облизнулся от вкусных яств да свою морду под корень хлесь, бутылка с молоком вылетела прямо к моим ногам. Медведь на задних лапах повернулся, снова рывкнул-выбрался, ко мне подался. Я в отчаяние впал. Бесстрашие исчезло. Судороги в ногах заходили, в «дальнее» место захотелось, чтоб отдушинку животу дать. Хотел подняться на ноги и не смог. Словно кто их в петлю захлестнул. А медведь? Хватил мое ружье по стволу березки и опять с ним на меня подался. Не стерпел тут и я. Схватил толстый кол, что лежал поряду со мной и прямо с поворота с ним в речную холодную воду окунулся. Споначалу стал захлебываться, а крикнуть на помощь некого. Тишина кругом. Оторопел, забарахтался, руки заходили колесом, ноги заплескались, и таким побытом я приплыл к другому берегу.

Хорошо, что река неширокая, быстро берег настиг. Хорошо, что вода с лета теплая, ноги судорогой не взяла. Вышел на берег, встряхнулся от воды гоголем, поглядел на медведя. Он как раз в это самое время стоял на задних лапах, передними отбивался от мух да комаров, бойко плевался да широко открывал рот, показывая красный язык, будто меня дразнил, приговаривая: «С попом, дорогой охотничек!»

И, махнув на прощанье мне лапой, он круто повернулся и скрылся в густой заросли ельника.

Держал я на своем подворье пару гусей: Дашку да Юшку. Разудалые были. Здорово гоготали, а на еду были разборчивы. Ели с большим раздумьем — не всякое блюдо. Требовательные гуси. Дай им мякишек, да чтоб с чистой водицей, а где ж его взять, этот мякишек, когда в тую пору я сам получал триста граммов из ржанины-непропека? Кое-как содержал, а они-то уж меня... Так отблагодарили, что за всю тую зиму ни единого яйца Дашка не сдала в хозяйскую кладовую. Взаймы берет, а отдачи не дает.

Как-то я достал льняного семени, вымочил его, выпарил в луженом чугуне и для охлаждения в сеник снес. Моя Авдюшка лепешки собиралась печь. Потом растопил печурку в зимовнике, сижу, жду Авдотью. Она пришла и ну по ногам ладошками хлестать да гоготать — тоже гусыня... .

— Что стряслось? — спрашиваю я ее.

А она смеется, да и все тут, а как отсмешилась, промолвила:

— Все твои льносеменные лепешки Юшка склевал, да как, входясь, даже Дашку к сковородкам не допустил.

Вот, думаю, дура баба, нашла время смеху. Юшка околеть с обжорства может. Выбегаю я второпях на поветь, вижу гуся — тяжело гогаает, крылья пялит да на брюшине ворочается. Жалко мне его стало. Поднял на руки, помял животик, а отходить так и не мог.

Помер Юшка, а Дашка в плач пустилась — гогочет печально и слезу пускает.

Подошла весна. Выпустил я туя гусыню на разгул, а сам поглядываю — куда шельма пойдет? Вижу — ушла Дашка к реке, там постояла на одной ноге, поведовьи погоготала да в разлив пошла. Река наша в туя пору была вольная, спесивая, все луга обмочила, все броды перекрыла. Чую я гусиный полет. Косяками летели гуси в родные места. Кричали нежно, аж истома брала. Моя Дашка слышала те крики, ответствовала и как будто веселей стала. Вечерком завсегда домой приходила, а ночь с грехом пополам коротала. Утрами сама к реке уходила и там скулила и скулила — кавалерчиков приманивала.

Таким манером прошла неделя. Солнце выше на припечинку вышло. Гоготаннее стали гусиные крики. Взмах крыльев ретивее. Охота разрешена, и почался в разливе ружейный стукоток, да такой, что моя Дашка хоть не из трусливых, а с перепугу часто домой убегала, но гулять туда все равно ходила. Однажды она явилась от реки с таким гоготом, что спасу нет. Гляжу на нее. Дашка вся сияет, а следом за ней чужой гусь ковыляет, правое крылышко по земле волочит. Я на гуся кышкаю хворостиной:

— Куда, непутевый? Это тебе не твой двор, а чужое подворье. . .

Вижу, гусь за мою Дашку прячется, что-то ей гогочет, будто защиты просит. Даша шею вытянула, клюв наострила и на меня подалась — вся в гневе, глаза сверкают, что бусинки у девушки на грудке.

— Не смей! — кричу я ей. — Чего на хозяина лаешься?

А она хватить меня за штанину — треск пошел, прямо по шву штаны лопнули, а Даша гогочет, шипит и меня от гусака подальше оттаскивает.

«Тоже себе кавалерчика привела, — думаю я, — заступница! Наверное, с чужого двора ускользнул. Напой его, накорми, а хозяин найдется, тебе же холку начешет да, пожалуй, еще и вором обзовет».

Подумал так я и вижу — моя Даша клювом у гусака крылышко складывает, с перышек кровь счищает, — значит, приголубила. Гусак к ней на шею клюв положил, рот от удовольствия раскрывает. Но скажу прямо. Удовольствия у него не было. Я понял, что какой-то бездельник из охотников картечиной ему крыло перешиб, из раны кровь сочилась. Тую рану я бинтом перевязал — ничего, гусак дался, а Даша? Когда я перевязывал у гусака рану, она так умильно стояла около меня и так ласково шипела, будто меня благодарила.

Наутро гусак вместе с гусыней вышел из стойла, на поево, что Авдюшка стоговила, напустился — досыта поел, клюв обчистил, меня увидел — поклонился, гочкнул, будто ведро воды в лужу выплеснул.

— Препоблагодарен, — ответил я ему и снова рану перевязал.

Ничего. Гусак терпел, а гусыня стонала, будто ее перевязывали. В полдник гулять отпустил, поглядел. Гусак увидел своих сородичей, что косяками над ним пролетали, истошно кричал им, звал на помощь, да те пролетали, а моя Дашка? Прямо-таки голубка по нем беспокоилась. Как почнет гусак крыльями хлопать, Даша тут как тут, спрашивает:

— Что, милашка, надо — спомогу!

Но на одном крыле гусак подняться не мог, так ввечеру снова на ночлег в мое подворье пришвартовался. Даша рада, да и я тоже. В зиму думал пустить — гусей разводить.

Так Дашка и гусак живут вместе месяц, другой, третий. Бабье лето настало. У гусака, которого я тоже Юшкой окрестил, рана заросла, крылышко исправилось. Бывало, выйдет утром из сарая, загопочет, поева напьется и крылышками закачает-захлопает. Стал подлеты делать. Один раз прямо на крышу сараюшки взлетел и мою Дашку туда же кличет. Но где ей... дамочке?

Потом подошла осень. Стаи птиц на юг потянулись. Первый косяк гусей пролетел — у нас в разливе кормились. Увидел Юшка сородичей — затосковал. С Дашкой погрубел — бить стал. Но и на этом ему спасибо. Даша за лето мне яиц на развод наносила. Десятка три иль четыре, а то и больше.

И вот однажды Юшка не вернулся. Долго я его искал. Все заполье обшарил. Найти не смог. Утром с Дашкой все пойменные места облазили. Дашка гоготала — звала кавалерчика. Но нет... Смылся наш Юшка.

Ждал я его день, два, неделю, а потом жданки все вышли, и я успокоился. В воскресный день с Авдотьей вышли в реке белье полоскать, Даша тоже с нами. Гуси все еще тянулись клиньями к югу. Даша видела, гоготала, к себе приглашала, прихорашивалась, перышки чистила — тоже опрятнейшая дама и тому прочее.

Когда моя Дуня закончила вахту с бельем, голову к небу подняла, а там стая гусей летела, и один гусь

из той стаи вылетел наперед и к моему дому полетел. Круг над домом сделал, сел у изгороди, прогоготал, кого-то покликнул. Потом снова поднялся и к пойменным местам прилетел, а когда увидел Дашу, гочкнул, словно захлебнулся, и так радостно вниз пошел, над Дашенькой моей пролетел, чуть крылышками ее не задел. Даша ножками засеменила, заговорила напевно, разудало. Гусак второй раз пролетел и низко-низко над Дашей. Шею к земле протянул, клювом покачал — видно, целоваться лез, но потом сделал взмах крыльями, простился и в высоту за косяком подался.

А Даша? Бедная дамочка опять вдовой осталась. Она узнала Юшку по крику. Сначала порадовалась, а как тот в высоту взял — в обморок упала — это у дамочек бывает. Я на руки ее взял, водицей sprysнул. Даша глаза открыла и что-то с раздражением сказала, вроде как бы такое:

— Инстинкт.

Оно конечно, кто где родился, в чьей семье крестился, где грамоте научился, того завсегда туда тянет.

У старого охотника Вани Выдрина я купил собачонку. Кобелек что надо: гладкий да на еду бойкий. Назвал я того кобелька Соловьем, а было ему тогда два месяца и два дня. Как домой принес, стал его молоко угощать. Он молоко не лопаает, а все повизгивает да мордочкой вертит. Тогда я ему щей крестьянских в крынку налил, туда хлебушка покрошил и щипоставил Соловейке под нос. Понюхал и стал есть. Ох как уплетает! Хвостом крутит, ногами перебирает да те щипробает. Видно, хороша похлебка. После этого я почал Соловья щами кормить, а ежели когда случалось щей недохватка, то и кутью готовил да ею кормил, тоже не отбрасывал, взаходясь ел.

Рос Соловей круто, как говорят, не по дням, а по часам. Сразу видно, что кобелек костромской породы. Уши широкие, отвислые, бока поджарые, шерсть пепельного цвета, а ноги троешерстные, будто дегтем вымазаны. Пристрастился Соловушка ко мне. Будто малое дитя к бабке привязался. Бывало, на повесть выйдешь, а он встанет к дверям, воеет, пока я не вернусь в избу. Ночами со мной спал: то на печи, то на лежанке. Сунет мордочку в шубпицу и сопит себе во славу и на здоровье.

В августе, а тогда ему восемь месяцев и шесть дней исполнилось, почал я Соловья в заполье волочить да с поляночками, с лесочком знакомить. Поперву Соловей от меня не убежал, все позади меня бегал да около крутился, а как почувял заячий запашок — и пошел и пошел... где тут, не остановишь Так я приучал

Соловья к охоте месяца два. Добро кобелек стал в заячьих следах разбираться. Любую петлю распутает и зайца под ружье подаст. Как первого зайца из-под него убил, то ему передние ноги и все потроха скормил. Судовольствием ел и снова в лесок, снова подает свой голосок, извещает: «Нашел, к тебе гоню!» Я встаю на заячий выход и уверен, что беляк на ружье прибежит.

Одно с Соловьем было плохо, что один в дому никак не оставался. Бывало, втихаря уйду от пего, а он как вспомнит про меня, все обнюхает, сам двери открывает и меня по следам найдет. Найдет в лесу, твякнет, будто выругает, потом хвостом вильнет и в лес на след пойдет. Один раз я за тетерками пошел, так Соловья в хлевушку на прикол запер. И что вы думаете? Скулил, скулил, выл, выл да самую большую раму в хлеве выставил и меня настиг, лег у ног и жалобно скулит, — извинения, видно, просит. Я хотел его за уши надрать, да собаку обижать нельзя. Она может обидеться и совсем испортиться. Лучше уж ее приласкать, тогда и она должок тебе сполна отдаст.

Так и у меня было.

Погода в тот день была чудная, преисполненная теплой благодати. Солнце хотя и не показывалось над лесом, но его присутствие я чувствовал весь день и во всем. Ветерок шелестел, обдувал легонько. Грибов в ту осень было прорва. Куда ни поглядишь, всюду важничают подберезовики, глядятся красные рыжики, что рыжая шляпа, боровики в рядок встали, будто на службе в охране леса. Под ногами хрустела сыроежка, а кубарь, так тот, как на него наступишь ногой, хрупнет, будто палкой переломится. Весело. Поодаль от

меня частенько потрескивали выстрелы. Был слышен собачий гон и повизгивание с тьяканьем на белку.

Ходил я в тот день по беличьим повадкам. Без собаки ходил. Соловей за пушным зверьком не охотился. Он только зайчат гонял да лису пугал, ну и волков страшал, а медведя побаивался. Но тут привязался за мной и с утра от меня ни на шаг — все за хозяином глядит: что он делает? За день Соловей только одного зайца поднял, того зайца я в упор из ружья хлестнул — и мимо... На белку мне повезло. Странное дело. Во всем помогал пищик на рябчика. Пищик смастерил из еловой коры. Им подманивал рябчиков. В тот год к нам из Пудожского лесного края белка от голода бежала, навалом валила да но сосняку рассыпалась. На мелком сосняке шишка поспела, вот белка тот урожай и собирала. Особо много белки задержалось в нашем Сыромятном болоте. Встану под густую сосенку, вложу пищик в рот и почну рябчиков сзывать. Но вместо рябчика слышу, как на махонькой сосенке шишка валится и голосок катится: «Чики-чики-чик. . .»

Рассматриваю ту сосенку и выглядываю белочку. Она в верхинке сидит да по сторонам поглядывает, думает, где же тут рябчик сидит, а я в то время прицел, бабах — и белочка в моей сумке. Соловей глядит на меня, облизывается и про себя тоже думает: «Что же это хозяин сегодня таких махоньких лупит, а по зайцам мажет?»

Таким побытом я проохотился до вечера. Дождик стал накрапывать, в лесу стало сумеречно. Все живое ко сну готовится, а я? Стою на тропочке и думаю: если пойти до дому тропкой, которая ведет вокруг Чертовой топи, то домой вернусь лишь к полуночи.

Так-то долго. Матушка будет беспокоиться, по соседям ходить да спрашивать: «Не видел ли кто моего Кирьку?» А кто ж его мог видеть, ежели он сегодня один в те лесные угодья ушел? И порешил я махнуть напрямик через Чертову топь. Тут рукой подать. Одолеешь грязный перешеек, а рядом с ним поля и полянки деревню подпирают. Но болото, скажу вам, действительно чертова лужа. Сплошная грязь да кочки. Прыгай с кочки на кочку, ежели не хочешь, чтобы тебя грязь поглотила. Смелый может то болото взять. Но мы ж охотнички, век с лесными порядками в дружбе живем. Все осилим, все перемелем и сухими из воды выйдем. А тут вот я не смог выйти сухим. Спасибо, Соловей помог.

Охотник принимает решение один раз и его исполняет. Вот и я, как решил, так и пошел. Ружье повесил за плечо, в руки взял длинный шест для опоры, чтоб им перед собой щупать. Чертово болото раньше озером было. Говорят, что в том озере столько рыбы было, что зимой ее ковшами черпали да возами в деревню возили. Но со временем озеро исчезло, поверху тиной покрылось, а на той тине кочки выросли да кусточки и березки появились. К моему времени кусточки повзрослели. Тут было много щупленьких березок с кукушкиным листом. Но в этом Чертовом болоте были места, людьми проклятые. В них скотина утопала, да и человека засасывало. Я знал это, а все же пошел. Прыгал в ту пору я бойко. Скок с кочки на кочку, с кусточка на кусточек и все вперед и вперед себе дорожку шестом ощупываю. Соловей порядку со мной бежит, тоже обнюхивает, падшие места углядывает. Собака, а знает, что и к чему.

До конца болота чуток оставалось. Стоило перейти одну ляговину, а там и бугорки с твердой землей. Мне бы не бахвалиться да слишком не самонадеяничать, все бы было в полном порядочке. Так нет. С разбегу думал перепрыгнуть ту ляговину, да не смог и по груди в болотную жижу осел. Струхнул малость. Шест поперек груди раскинул. Он не дает глубже провал делать. Чую, ноги стало сжимать. Это грязь почала сосать да плотней ноги обжимать. Вглубь потянуло. Шест уже в грязь окунулся. Тогда я почал правой рукой вперед грестись, а левой шест переставлять, да не тут-то было. Гребусь, гребусь, а все на одном месте стою. Мой Соловушка вокруг ляговины бегаёт да повизгивает. А как мои плечи скрылись в грязи и наверху топи осталась одна голова, вижу, дело неладное, не баское дело выходит. Как-то стыдно охотнику в грязи с душой прощаться. Кричу Соловью:

— Выручай, Соловушка, батюшка!

Соловей ко мне рванулся, передние лапы подал да мои руки из грязи высвободил, а как высвободил — то из всех сил назад отшвартовываться почал. Тоже, как и я, гребет, гребет ногами, а назад ни шагу и вперед тоже ни пяди, ни туды ни сюды. Вижу я такое грустное дело, кричу Соловью:

— Тикай скорей в деревню, народ сзывай да меня вызволяй!

Соловей не слушает моей комады, а все тянет меня да тянет, хочет сам с таким трудным делом справиться. Но дело плохо поддается. Продвижения вперед нет. Проход закрыт. Это видит мой Соловушка да марш от меня, а как выбежал к кусточку, осмотрелся, на тонкую березку слазил да как после этого

разбежится и прыг на спину той березке да зубами за верхушку захватил и прямо с березкой к моим рукам свалился, ту березку мне в руки подал, а сам опять прыг с кочки на кочку к кусточку, сел и на меня стал поглядывать. Умная собака! Он думал, что мне еще какая помощь от него потребуется. Но все обошлось добро. Я за верхинку березки ухватился, шест оставил в грязи, а сам стал руки переключать да по стволу березки подтягиваться, так и до комелька добрался, на твердый грунт вышел.

Как вышел да на ноги поднялся, мой Соловушка почал около меня с повизгиванием бегать да на радостях с меня грязь слизывать. Но разве ту грязь слижешь! Пришлось до речки дойти, там всю одежку прополоскать, выжать и снова на себя надеть. Вот таким фертом я в избу к себе заявился. Матушка как увидела меня — загомонила:

— Батюшки светы, да никак ты весь промочился?

— Промочился, — отвечаю я матушке, — в лесу — не в избе, там дождик шел, до косточек прохватил. Беги, матушка, к Андрону за крепким проухтом.

А как матушка принесла шкальчик крепкого проухта, я глотнул и Соловью малость дал. Как тот выпил, с трудом до запечника дотянулся, улегся и крепко заснул.

Через год, в ту же самую пору, сгинул мой Соловушка. За Чертовым болотом его косточки нашел. Волки разорвали. С жалости я все косточки собрал и домой принес да у палисадника в землю зарыл. И теперь все вспоминаю: «Хороший друг был. Такой в беде не оставит».

После смерти Соловья я осиротел и почал тосковать да с умилением чужих собак подманивать. Видит такое дело моя матушка и говорит:

— Чем уж так-то, Киря, лучше поторгуй какую-нибудь неражевую собачонку, приучишь ее. Вон в Чирье Митя Перепугин кобеля сбывает, а в Неурожайном Задке Иван Треух лайку продает. Селедкой та собачонка зовется. Гришка Мякинин рад бы с рук сбить поганца Сверчка, спокою тот овцам не дает.

Тогда я улыбнулся матушке и отвечаю ей:

— Это все ни туды ни сюды. Таких собачонок мне не надо. Что толку их за собой в лес волочить. Люди будут насмехаться.

Собака мне нужна была не так, чтоб для охотного ремесла, а вроде как бы для веселого придатка. Все ж не один по лесу шлындаешь, а дружка чуешь. Много по деревням ходил. Много собачонок повидал, к рукам подзывал, да все не по нраву. У одной губы всегда обмочены, у другой нос тугой, у третьей хвост обрубком и тому прочее. Мне нужна собака, чтоб хвостик у нее калачиком свивался. Так в ту пору я и гулял по лесу без дружка-товарища.

Однажды иду я по своему заполью, в тальянку наярываю, песню спеваю, а как кончил наигрыш да песни — глазом в канаву сходил и вижу: мается в травке махонькая собачонка. Белая что снежинка, а глаза черные-пречерные, губки розовые, будто у да-

мочки, вроде бы покрашены, ножки коротенькие, а сама длинная и глядит на меня браво-браво. Завидя меня, хвост в три калача сложила, затавкала, да так звучно, будто бы в тальянку запереборила. Я тогда с плеча гармошку в травку сунул, из кармана леденцов достал, почал собачонку угощать, ласкал ее и так и этак. Леденцы, жаба, не ест, а от меня не убегаёт, мне даже руку лижет, и вижу я: у той собачонки на ремешке к шее камень привязан. Видно, топить бедняжку собирались, да спряталась она от смертушки и в заполье прибежала. Бездомной сейчас стала. Взял я ту собачонку на руки, молчит и мордочкой о мой пиджак трется. Жалко стало. Будь что будет, а понесу ее домой. Положил я ее в заплечный мешок, отдушину ножиком пропорол, а сам как надел мешок на плечи, на радостях гармонь раздернул да «Калинушку» запел. Люди чувуют мою игру, из домов выглядывают, судачат:

— Гляди-кась, бабоньки, Кирилка-то первача тяпнул.

— Захмелел, батюшка.

— Видно, опохмелку сделал, блаженный.

И тому прочее.

Та собака плотно осела на моем подворье, не сгнишь. Сколько ей годиков и как ее имя я не ведал и сам ей немудреную кличку дал. Раз сам не знал ее имя, то и кликал ее Незнаю. Моя беляночка Незнаю подружилась с соседской лайкой Шпаргалкой. Та умная собачонка была, не заносчивая, скромная, зря рта не откроет, но и пальца ей в рот тоже не суй, откусит. На охоте не торопилась, а верно чуяла белку, куницу и прочую пушнину. Со Шпаргалкой моя Не-

знаю целыми днями в лесочке прогуливалась, а вечером всегда к обряжению домой поспевала.

Приходит как-то ко мне сосед, Артем Пуговка, совет козью ножку, дым коромыслом от нее, и говорит:

— Чего ты, сосед, такую беляночку в почести держишь? От нее, можно сказать, одна убыль и никакой тебе прибыли.

— А что с ней поделать? — спрашиваю соседа.

Артем коковку носа почесал, под подбородком пощупал:

— Да утопил бы ее.

Я на Артема заругался, а он только захохотал и опять же мне совет подает:

— Спервоначалу ты ее в лес своди, тропки покажи. Может, еще и толк из нее будет, может, затывкает на хлебную корочку.

Я Артему ничего не ответил, а поутру Незнаю в мешок уложил и понес до ближнего лесочка. Там ее из мешка выпустил, приласкал. Незнаю поглядела сперва на меня, потом на елочки да березки и хвост калачиком сложила, пошла так и пошла... Я иду бочком у болотины, а Незнаю взаходясь бегаёт да комли лесин пронюхивает, а потом как затывкала, аж все заговорило, лес будто проснулся от тишины. Я в ту лесину, в которую Незнаю лаяла, поглядел и белочку приметил. Сидит себе на сучке и на Незнаю поглядывает. Я прицел сделал, спуск нажал, и моя Незнаю на лету подхватила белочку, к моим ногам положила, твякнула, будто проговорила:

— За твою ко мне ласку, хозяин.

Я тогда обнял беляночку и поцеловал ее в розовенькие губы.

В этот же день я из сельсовета позвонил своему приятелю, тоже охотничку. Сказал ему: мол, так и так, хорошая охота наклеывается. Мой приятель Самсон Крошкин, тот, что работает в колхозе кузнецом, сразу ко мне прикатил на своем трандулете. Трандулет поставил во дворе и кричит мне в окошко:

— Эй, Киря, стеганем скорее до Ведьминской гряды, коли у тебя лайка завелась. Я лаечек обожаю.

Я ему говорю:

— Давай сначала чайком попотчуйся да малость крепкого продохта дерни, тогда и пойдем.

А он мне кричит:

— Чай будем попосля охоты распивать, а продохт не выдохнется. Я с пути распаренный, готов идти хоть куда. Ноги просят.

И мы пошли. Ружьишко за плечами висит, мой мешок со шмотками белые заплатины показывает, а Самсон ногами землю шоркает, будто пол натирает, — видно, боится ноги выше поднять. Такая уж у него походка. Глаз у Самсона настролянный, по кусточкам бегаёт, а нос с перекладинкой, что капельница, слезу пускает, он ту слезу махонькой тряпицей смахивает да гогочет, что гусак.

— А ну, Киря, кажи свою лайку. Я ох как их люблю. Страсть как люблю за калачистость, за речистость и за безобманность.

А я ему отвечаю:

— Незнаю, по всей вероятности, попереди нас нюх развивает.

А Самсон опять же носом швыркает да меня донимает:

— Да хоть бы глазком поглядеть на лаечку.

— Не торопись, Самсон, — уговариваю. — Не одним глазком от нее моргнешь, а всем лицом заплашешь.

— Не погляжу, не пошупаю — не поверю.

Так идем и разговорчики ведем, а собаки все еще не видим. Вижу, Самсон волноваться стал и ко мне пристает:

— Ты, Кирька, меня обманываешь. Собака-то, может быть, в деревне свадебным торжеством занимается. Покажи ее, друг ситный, а то, ей-богу, оглобли назад поверну.

Я тогда руками развожу, вижу, что его сейчас успокаивать — что большой пожар без воды тушить.

— Кажи лаечку! — кричит Самсон и тут же останавливается, с себя ружье вгорячах снимает, вещевой мешок с проухтом под елочку ложит.

Тут я углядел, что время пришло спознаться, далеке от заполья отошли, к сосняку притулились, пора и охоту починать. Снимаю свое ружьишко, к дереву его ставлю, снимаю охотничий мешок, развязываю, а как развязал, то крикнул:

— Незнаю, к ноге!

Моя славная беляночка из мешка вспорхнула, на ножки встала и к моей ноге на задние лапки подсе-ла. Милая картинка. Самсон глядит, а у самого рот все ширится и ширится, будто он собирается мою беляночку проглотить, а как досыта насмотрелся, и заржал, что ретивый конь. Хохоchet да за живот хватается, присядет и меня донимает:

— Ну и насмешил, Киря. Отродясь я так еще не смеялся. Тоже себе лайку нашел. Да какая ж она

лайка! Просто дворняжка, и бродит она только за парным молоком да за простоквашей.

— А ты сперва погляди ее работу, — говорю я Самсону всуриез и с обидными нотками, — а уж потом вывод слагай о моей беляночке.

— Чего тут глядеть-то? — кричит Самсон, а сам живот подтягивает ремешком. Видно, забулькало у него от пересмеха. — И так все обозначилось, — кудахтает он. — От нее ни пуха ни пера нам не будет.

— А много ли пуха да пера ты на своем веку видывал?

— Да не то, чтобы то, и не очень, чтобы очень, — отвечает Самсон да на беляночку поглядывает, хочет сапожищем ее пнуть.

— Не трогай работягу, — говорю я Самсону и обращаюсь к Незнаю: — Ну, милая, шагай по лесочку да прижимай белочек к кусточку.

Как только я это промолвил, моя Незнаю на все четыре ножки прыгнула, хвостик в три калача согнула и пошла по лесу сосны да елки считать.

— Ну что ж, Киря. Пойдем поглядим, как дворняжка с делом будет обряжаться, — сказал Самсон, за кушак рукавицы ткнул, курки у тулочки взвел, на предохранители поставил, чтоб не заружиться, шапчонку глубже натянул и вперед подался.

Так идем и промежду собой в молчанку играем. Вдруг: «Тяв-ва-ва-тяв... тьяв... тьяв... тьяк...»

И пошел ласковый голосок по лесочку вперегонки бегать.

— Что-то обозначилось, — говорю я Самсону, а сам наперед забегаю, на собачий лай. Я-то знаю, что Незнаю врать не научилась. Самсон старается меня

опередить, крутой овраг берет и носом в лесину упирается, от его тугого носа с красной коковкой чуть ель не пошатнулась. Я тоже наперед хочу идти, кричу Самсону:

— Торопилась одна кобыла, да с возом все горшки перебила. Не суйся попереди хозяина, дело спортишь!

Самсон не осердился, свой шаг умерил и за мной пошлындал. Подошли мы к беляночке, а она, бедная, мается, зубами цокает да когтями о ствол лесины скребет, а голосок звенит и звенит. Обошел я ту лесину кругом, вижу не белка сидит, а из дупла куница головушку на божий свет показывает да мою Незнаю дразнит.

Прицел, спуск курка — и, этого-того, куница в руках у Самсона. Он гладит ту куночку, а сам расцвел, что весной. Потом продухт вынимает, по стопочке наливает и первую стопку Незнаю подает. Та десны оголяет, зубы показывает, урчит на Самсона, кричит ему: «Я непьющая».

— Молодчина, Незнаю! Клад, а не собака.

И в тот день мы досыта наохотились, так что Самсон кокову опустил да меня спросил:

— Не пора ли нам, Киря, к дому податься да там за чай взяться, что-то тонкие кишки продухта запросили.

И я опять подозвал свою Незнаю, посадил ее в мешок и к своей избе понес.

С добычей всегда легко ступается, устали не ощущается.

КАЖДОМУ СВОЕ ДИТЕ ДОРОГО

Наша избенка, где я проживал с бабушкой и матушкой, стояла в задней порядковке деревни. Окна ее глядели на скотский прогон, а заднюха пятилась к лесным бугоркам, подле которых пробегала маленькая речушка с интересным названием Сдоба. Почто ее так в старину прозвали, мы не знали. Только вода в той речке страсть как вкусна, чиста и холодна. Рыбы в ней не было, а раков полным-полно. Раков наши мужики не ели, а ловить ловили. Особо гонялись за синюжниками. На синюжников язи хорошо клевали.

Стояла сенокосная пора. Матушка со скотиной обряжалась рано. Еще заря только-только начинает загуливать, а матушка уже кричит:

— Хватит вам прохлаждаться, пора на пожню собираться! По росе коса хорошо берет!

Мы с бабушкой поднимались, сразу вставал и отец. Тогда он еще жил при нас. Завтракали парным молоком да душистым хлебом, а то и пироги запивали молоком и на пожни торопились. На покос уходили раньше деревенцев. Все хотелось нам досыта накоситься да травой на зиму обогатиться, сена насушить, стогов наставить да живности во двор прибавить. Но как мы в царево время ни бились, как ни суетились, а живностью не обзавоидились.

Была тогда у нас чалая коровенка с тремя титьками, четвертую медведь откусил, да в хлеве бляляла ярушка с двумя ягнятами, а матушка, так та вдосталь

курами себя обеспечила. Самая доходная статья в хозяйстве — куры. Но надо ж такому случиться. В это лето куры стали теряться. Вечером мать соберет их на седала всех до единой, ни одной на улице не оставит, а утром обязательно одной недосчитается. Зато сковала матушка моя, а как потерялось пять кур, да самолучших, стала мать по соседским дворам ходить да чужие седала проверять: нет ли там своих кур? Но где их, своих-то, найдешь! Деревенские бабы матушку стали полоумной звать да со дворов почали гнать.

Тогда матушка в колдовство ударилась. Поймает черного петуха, в избу принесет, ему глаза повяжет тряпкой, покрутит, покрутит того петуха да на пол кверху ногами положит, а сама ходит вокруг него да приговаривает:

— Черт, с курочками поиграй да обратно их отдай.

После колдовства в ту ночь с насеста сразу две курицы потерялись. Матушка снова петуха в избу принесла да давай с ним по запечнику ходить. Петуха по закоулкам тычет, приговаривает:

— Вокруг печки я хожу, петушка в руках ношу, печку петьюкой не задеваю, для того не задеваю, чтобы курочки не исчезали да свой дом не теряли.

И опять же в ту ночь одна курочка исчезла, будто ее сам нечистый языком с насеста слизнул.

— И надо ж так получиться, — сердился мой батюшка. — Восемь несушек с насеста исчезли. А куда? Может быть, их кто стащил? А кто? Поймать бы мерзавца.

Мне стало жалко матушку. Она слезами обли-

вається, к еде неохочлива стала да придиричива, не всякий продукт ела. Вот тогда-то я и решил поймать воришку. В воскресные дни мы не косили траву, а если день был ведренный, то только стоговали сено. Я решил в субботнюю ночь выйти в засаду. Просижу всю ночь, а вора выжду и из ружья солью или клюквой в тыльное место хлестну. Соль в то время у нас была крупная. Для солки куска хлеба мы ее в ступе толкли, а потом через сито просеивали.



Зарядил я один патрон той солью, а другой, что картечиной был заряжен, на всякий случай в карман сунул. Мало ли что могло случиться. Черт не туды шел, вдруг да сам язвик¹ на подворье пожалует, а язвику хлесткий удар нужен. Его сало не легко просверлить.

С вечера залег я в травку-муравку под мелкий березник у самой речки на маленький бугорок. Дом свой близко, тропа, что к реке ведет, тоже рядом. Если вор тропой пойдет — увижу, а если задами побежит, все равно достану. Ружье не кочерга, а все ж тульская сталь, еще не прохудилось.

Лежу в траве, на небо поглядываю, а там синие, что моя ластиковая рубашка, какую я с германской войны приволок. Много звезд на прогулку в небесах вышло. В сумерках все вижу. Вижу, как

¹ Язвик — барсук. (Примечание редактора.)

матушка сени закрыла, как дядя Андрей на крыльцо вышел, козьей ножкой попыхивает, а с бороды у него капли бежат, будто чай пил. На деревне собаки затывкали, овцы в хлевах проблеяли, да у гуменников ребятишки все еще в спряталки играли. Кругом воздуха, хоть саженями отмеряй и бери вдосталь. Жуки из дерьма повылезали, летать почали, с завыванием по тропе кружились. Рядом речка затопорщилась, наигрыш в переборах отчубучивает, а я все лежу, слушаю и примечаю.

В полночь сторож по деревне прошел, колотушкой пробрякал, будто в лесной барабан прогремел. Ребятишки под мамашино крылышко убежали. Луна из-за перелеска выскочила и землю осветила. Червячки-светлячки на листочки-травы выползли, чтоб росяной водички испить. После этого наступила такая тишина, что слышно в это время, как трава растет. Я сижу под кусточком в травушке. Вокруг меня будто все вымерло, только коростель-дергач за рекой ситец рвет, но я все сижу.

Прошло еще добрых два часа и вдруг явственно слышу — подле меня трава зашуршала, а как глаза в ту сторону метнул, лису увидел. Некрасивая в ту пору она была. Рыжая, бока опаленные, а брюхо отвисло, чуть по земле не волокется. Трусит она от моей заднюхи не больно круто, а во рту у нее вижу — белая курица болтается, ногами да головой о травку шлепается. Последнюю, паскуда, уворовала. Тут я рассердился и стал перезаряжать ружье. Вынул патрон с солью да на его место вставил патрон с картечиной. Думаю, как побежит порядку меня, хлесь в нее из ружья — и за пазуху. Лиса подбежала к бугороч-

ку с порослью, что напротив меня у самой речки разместилась, положила курочку на травку, а сама на луну поглядела и прокричала, что дворняжка. Тут на ее призывной клич из-под горушки сразу три лисенка выбежали, к ней приблизились и давай с моей курицы перышки ощипывать. Занятное дельце. Щипают перья, бросают в сторону, а потом слышу, и косточки на зубах у лисят захрустели, а лиса, стерва, стоит, на малышей глядит. Ей в ту пору легко было, ее ребятишки обедали, а каково мне? Она ж мою курицу ребятишкам скормила. У меня все нутро исщемило, аж зубы застучали от нервозности. Жалко курицу, ну, ничего не поделаешь. Не стерпел тут я, взял прицел, курок взвел. Гляжу, на мушке лисица глазками моргает, зубы кому-то показывает и любитесь, как детишки куриные косточки щелкают. Жалко мне стало. Тоже ведь матушка, а матушки к своим детишкам все одинаковы, все жалеючи на них поглядывают и все проказы прощают. Вспомнил я тут свою сестренку Машку, что за загорского мужика замуж вышла. Мужик попался — ни туды ни сюды, настоящий опурьш¹, от него ни скуса, ни проку в дому не было. Машку лупил за каждый пустяк так шибко, аж ее почастью полумертвую отнимали, а потом с ней отваживались. Жалко нам было Машку, да что поделаешь? Ничего не поделаешь. От закона не убежишь. В церкви венчанная, с согласия. После одного лупления Машка захворала и умирать стала, а как смертный час наступил, к себе ребятишек, Гришку да Дуньку, позвала. По голове погладила обоих, сплакнула, заговорила:

¹ От опурить — обмочиться. (Примечание редактора.)

— Кто-то вас, детки, теперь ласкать будет? Кто-то вам ягоду, княжицу да медку-солодку с покосных полянок носить будет? Сиротиночки вы мои махонькие.

Я сам в ту пору заплакал да из избы вышел. На воле еще плакал, да как снова в избу вошел, гляжу — Машка уже, этого-того, посинела, скапутилась. Ребятки ее плачут, мужик весь почернел, стоит да ахает, у бога прощенья просит. Печальная картина. Вот эту картину я и вспомнил, как за спуск ружья взялся, прицелился лисе в голову промежду глаз, а выстрелить так и не смог. Вздохнул, перевел дыхание на минуту, снова прицел взял и снова не смог нажать спуска. Позади себя слышу, кто-то шепчет: «Стреляй, Кирька, чего трусишь? Лиса у тебя всех кур уворовала, ребятишкам своим скормила, завтра за последним петухом пойдет и того украдет».

Я тогда поднялся на ноги, да и закричал во всю свою мощь:

— Последнего петуха, лисуха, поволоки, только с глаз моих скорее уходи!

Крикнул так громко, что на деревне петухи отозвались. А лиса как я встал на ноги, то сразу стеганула под горку в овраг, а следом за ней и детеныши.

На другую ночь последнего петуха зарезала да за соседских кур принялась. Но там поживиться не удалось. Отпугнули.

Но об этом другой рассказ будет, а теперь — за дело, молодчики. Кто чай распивать, кто руки умыть, а мне недосуг. Побегу пчел доглядывать.

КАК МЫШЬ ЛИСУ ПОЙМАЛА

Чего засмеялись? Думаете, я вам неправду буду сказывать? Ошибаетесь. Поглядите на мои волосы. Сосчитайте, сколько в них сединок. Что? Сосчитали? Ну и как? Много. Вот то-то и оно-то, что много. При моих летах небывальщинки не положено рассказывать, да я и не умею. Столько я видел, столько слышал, что другому надо две жизни прожить, чтобы все запомнить. А я вот запомнил и вам рассказываю.

Было такое дело в моей жизни. Я в ту пору молодцевал, но посиденкам похаживал да на девушек заглядывался, но и к охоте большое желание имел. Все мне хотелось весь лес исходить. Дежнев — открыватель островов, а я лесную кладовую осилил. Дежнев на своем суденышке северные льды пересчитал, а я все елки да сосны в Губаревском лесном краю. Ружье имел. Покоенок батюшка мне оставил. Когда умирал, наказывал: «В пустое поле не целься, зря незаряженным ружьем не болтай, бывает, что и незаряженное стреляет».

В ту пору стояла студеная зима. Снег все уремы закидал, завалил, без лыж ступить некуда. Смастерил я себе из березового полоза широкие лыжи, просушил, как следно, а низы подбил телячьей шкуркой. Ладно несли лыжи. С горки не сползали, а все горки брали. На любую сопку залезу.

Настов еще не было, но солнце стало на припечинки выходить. На деревне курица из лужицы водичку почала пить. В такую пору я собрался на охо-

ту. Встал на лыжи, с горушки скатился и в лесочек выскочил. Едва успел я пройти первую чересполосицу в озимовой поляночке, как у опушки леса заметил лисицу. Остановился, прикинул в уме, откуда лучше к ней подойти и из ружья пальнуть. Думал не так уж долго, но и не коротко, а лиса все вертится около озими и меня не замечает. Красиво крутится, будто польку-бабочку пляшет. Если кто видывал, вкус понял. Принюхается, прислушается, а потом, как услышит мышиный запах, прыгнет на задние лапки, а потом мордочкой в снег ткнется. Ловко, нам, пожалуй, так не смыслить. Может быть, попробуете?

Целый день лиса водила меня по закусточкам, а под вечер хвост показала, с посом оставила. В сумерках домой пришел. Матушка хохочет, с издевкой говорит:

— Сыночек наступил на лисий клубочек, а он по полюшку вьется, в руки никак не дается.

Я из скромности матушке отвечаю:

— В Турции пироги пекут на головной пропleshинке, а мы лису поймаем на мышкованье.

Так попереговаривались с матушкой, а утром я опять на лыжи и опять за лисой пошел. Нашел ее в том же полюшке. Плутовка весь снег исклевала, столько ямок понаделала, что я считал, считал да со счета сбился. Тут рябчик из-под моих ног вспорхнул и все дело спортил. Лиса опять мне хвостик показала. Но упрям я в ту пору был. Что захочу, то возьму.

Три недели изо дня в день я за лисой гонялся. Все охотничьи методы испробовал, а она только один хвостик кажет и никакой ко мне жалости. Я уже стал уставать, а от лисы не отказываюсь. В дураках не хочу

остаться. И как-то с устатку я выпил крепкого продукта, на лежанку прилег отдохнуть, крепко заснул. Во сне вижу — стоит передо мной лисица и нежно помахивает хвостиком, как будто меня дразнит. А чем? Да во рту у ней мышшь-полевка. Вдруг слышу во сне, как лиса говорит: «Ты дурень, охотничек, без этого-того, что видишь сейчас у меня во рту, за мной не гоняйся, силушки зря не трать да ноги попусту не мни». От таких слов я с лежанки соскочил да в сени побежал. Гляжу, на повети отцовские клепи висят. Их в избу занес. Воды вскипятил, в воду хвороста, нашего вереса, добавил и те клепцы пропарил. Клепцы в ушате парятся, а я думаю о том, где и каким побытом мне мышшей-полевок достать, как ими раздобыть. Они на дороге не валяются.

Но, видно, моя матушка меня в чистой рубашонке родила. Счастье мне подарила. Случай тут подвернулся. Утречком спозаранку я пробудился — и к окошку. Вижу, наши мужики — Андрон, Пырей да Аркашка Соловей — с поля скирды овса почали возить. С поля возят да в гуменник складывают. Эти мужики жили справно, а в тот год урожай был хороший, такой урожай, что все снопы в гумна к мужикам не умещались: их приходилось стоговать в полянках. Отошел я от окошка, заулыбался, а матушка опять же заметила это и строго заговорила:

— Ты, Кирилл, понапрасну маешься да за лисой гоняешься.

А я опять матушке отвечаю:

— За счастьем, матушка, не гоняются, а его силой берут.

Оделся потеплее, с собой маленький мешочек

взял, чтоб туда мышей-полевок складывать, и пошел к той полянке, откуда мужики снопы овса возили. Прихожу туда, здороваюсь, спрашиваю у Андрона, тот постарше и покрупнее Аркашки:

— Разрешите, Андрон Прокопьевич, мне за мышами погоняться?

Андрон услышал эти слова, на меня уставился, не моргнет, а все глядит, потом смехом залллся, а как пересмеялся, ко мне подошел, мой лоб своей ладонью пощупал и говорит:

— Как будто у парня жару в теле нет. — Потом меня спрашивает: — На кой черт тебе понадобились мыши?

— На всякий случай, — отвечаю я ему, а сам боюсь проговориться, что мыши мне нужны для поимки лисы.

— Гм... Ха-ха-ха, — гмыкает и смеется Андрон и говорит, глядя на Аркашку: — Что ж, Киря, если нужны, то имай мышей, от этого вреда не будет. — Потом на меня поглядел, будто прожег. — За каждую пойманную мышь я плачу тебе одну копейку, а ежели неймаешь — ты мне обязан четвертак уплатить.

— Четвертак так четвертак, — проговорил я и почал мышей искать.

Андрон и Аркашка наложили воз снопов, уехали, а я стал прохаживаться вокруг скирды да колышком снопы ковырять. Слышу легкий писк, а потом возню. Две полевки выскочили из скирды и в снег юркнули. Ну, думаю я себе, теперь-то от меня не уйдете, поймаю. Я за мышами, настиг и обеих в мешочек положил. Вот таким побытом я поймал десяток штук, а когда Андрон подъехал, я говорю ему:

— Твоих копеек мне не надо, считать плохо умею, а за полевков много благодарен.

Откланялся и ушел к себе в избу. Матушка опять же на меня с руганью:

— Дрова на исходе, а он все в походе. Перестань смешить людей.

— Матушка, — отвечаю я ей, — я же свое счастье трудом ищу, а не прибауточками. Ту лису сам видел. Бежит, а у нее шерстка так серебром и отливают, так и отливают. Может, та лиса серебристая, мало ли какие лисы бывают.

Матушка на этот раз смолчала, а я почал мастерить ящички под мышей. Смастерил их за день пять штук. Малюсенькие ящички, чуть побольше спичечного коробка, все сколотил гвоздями, а по бокам дырочек перкой насверлил, а как их сделал, положил внутрь немного кудельки, а в кудельку по паре мышей-полевков и корочку хлеба с солью. Потом оделся, да чтоб никто не видел меня, задками к лесу подался. До появления лисы на гулянную полянку пришел, клепы расставил, а вниз под клепцы по коробочке с полевками положил. Я знал, что полевки корочку с солью съедят, захотят пить, пищать будут. Лиса прислушается к тому пisku, приняхается и лапкой их почнет выковыривать, а там что будет, то будет.

Поставил клепцы, а сам домой пошел. Рано пришел. Матушка обрадовалась, что я до потемок не захохотился. Около своего дома порядок навел. Дров наколот, под печь натаскал да воды ушат приволок. Потом лежанку истопил, картошки наварил да повечерял и на бок свалился. Лежу на лежанке, а сам все думаю: боялся за лису, чтоб не обезвредилась. Такое

у нас бывает. Попадет лиса в клепи, затащит в кусточки и почнет клепи с ноги снимать. Бывало, что и снимала, а не то и лапу себе откусывала. К полночи заснул, и опять же сон пришел, вижу, как будто та лиса стоит у лежанки, меня лапкой тычет да говорит: «Эй ты, охотничек, не время спать, убегу в лесной кряж, там ищи ветра в поле».

Проснулся — никого. Пустота, а на печи матушка всхрапывает, что в кузнечные мехи дует. Матушке добро, а мне грустно. Надел свою старую поддевку, со спящей матушки обутку сдернул, на ноги обул, вышел на крыльцо. У соседа петух прокукарекал. Огни в домах стали зажигаться. Я опять гуменными тропами — да с горушки к лесочку. Луна сладко светит, снежинки играючи поблескивают, а я вперед иду и о лисе думаю. Подошел в сумерках к тому полюшку, и сердце взаходясь застучало. Клепей нет, и лисицы нет. Подхожу ближе. Вижу снежную борозду. Глубокая борозда, не сохой пропахана. По той борозде пошел и скоро лисицу нашел. Запуталась в березовой райке и ни туды ни сюды. Березки не дают ей прохода, задерживают. Тут я ее по-божески обушком в лоб и, этого-того, прикончил. Не живую ж ее домой нести. Перекинул лису через плечо и в избу. Матушка увидела, заохала, зарадовалась, из печи блины вынимает да меня угощает:

— Поешь, Киря, досыта поешь, ты сегодня заработал.

Я есть не стал, а лисицу принялся шкурать. Ошкурил, на правилах растянул и по всем правилам ее отделал. Красива! Черно-бурая, а как ладошкой по спине проведешь, серебром брызжется. Сперва снес

ее я к нашему торговцу Толстоделову, тот помял, помял лисью шкурку, да и говорит:

— Хочешь красненькую? Она, — говорит торгован дальше, — не настоящая черно-бурая, а так, с проседью.

Я вырвал у него ту шкурку, и в тот же день в Вытегру снес. Там в аукционе сразу приняли и порядочные деньги дали. На те деньги я у цыгана мерина купил, матушке полушалонок голубой завел, себе новенький дубленый полушубок сшил да валенки с калошами. Форсил да на девушек поглядывал, невесту искал.

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН НА ОДНОЙ НОГЕ

Кукуруза у нас в тот год на большом Куликовом поле не выросла. Во время роста испортилась погода и такая порченная стояла все лето и осень. С утра как будто бы и ничего — солнышко па дорожки выйдет, принекет, а как побегут облака — спрячется, и вновь ливень начнется. К вечеру часто примораживало, что иногда сухой иней березки принаряжал. Правда, на силос мы кукурузы немного собрали, но мизерное то дело. С гектара земли полтора пуда силоса. Жидковато. На другой год в том поле горох посеяли. Уродился что надо. Так выпер из земли, что разлюли-малина, стручковатый, крупнотельный, и все веточки зерном обвешаны.

После жнивы ржаных полей колхоз решил вытербить горох и в бабки для сушки в поле поставить. Так и сделали. Бабок на полянке была целая дивизия, что солдаты в атаку выстроились. Но тут опять беда приключилась. Журавли стали стадиться, на юг собираться и повадились этакие прорывы делать — наш горох стручить да себе подгузки им набивать. Жалко стало гороха. Приходит ко мне наш председатель колхоза и просит:

— Ты уж, Кирилл Петрович, сходи на полянку да посиди возле гороха, журавлей попугай, а если что — так и из ружья пальни, худа от этого не будет.

Послушался я его и после обеда на полянку вышел. Место срядное для сидения нашел. Под бабкой гороха примостился, как на мягкий диван присел. Та

бабка на горюшке стояла. Из нее все полюшко видно. Сижу так я час, сижу другой, никого не видно. Но вот зоренька затанцевала гопачок, я услышал курлыканье журавлей. Голову из-под бабки высунул. Стая журавликов над гороховищем кружилась, видно место для посадки выглядывала. Потом все разом опустились на поле, огляделись, а один, что посерее да помогутнее всех и богаче в перьях выглядел, на одну ногу встал и шеей почал крутить. Бойко крутил. Мне бы так ни за что не смыслить. Видно, он был из главных журавлиных начальников. Остальные журавли молча стояли друг по дружке и клювами земельку щупали, а никто не расходился, на гороховину не набрасывались, команды ждали — тоже дисциплина. Потом вожак протянул шею вперед да как гукнет что-то кудрявое, будто команду подал:

— По местам, солдатики!

Вся стая разбежалась по бабкам — и пошел чекоток да шорохи гороховые. Взхлеб журавли колхозный горох ели, никого не стыдились. Проголодались. Разве у голода стыд есть? Но у них капелька была. Они по всему полюшку не расходились, а честно и по порядочку с горохом справлялись, как будто согласно приказу. По два журавлика у бабки горох шушили. Нет-нет, да из журавлей кто-либо и даст о себе весточку, так вожак к нему быстро и почнет своим клювом у него перышки перебирать. Я смотрел эту картину и совсем забыл, что у меня для их остратки есть ружье, из которого я, по приказу нашего председателя колхоза, обязан пальнуть, может быть, раз, а то и два, как разохочусь. Журавлиного мяса мы тогда не ели, дерьмом его считали. Да, пожалуй, лучше

его не назовешь. Сухое, красножилистое, волокнистое и душисто-запашистое, лягушатинной попахивает.

Через несколько времени вожак на обе ноги встал, что-то прокурлыкал. Вижу, на его зов ковыляет другой журавль, помоложе и побелее. Пришел к вожаку, встал на одну ногу, поклон земной отдал, прокурлыкал потихонечку и почал головой вертеть не хуже старого вожака. Вожак бойко к бабке гороховой побежал и стручить горох стал. Как понаелось все стадо, к зрителю на горошку выходить стали. Вожак тоже пришел. Его журавли окружили и заговорили, кто что советует, а что, понять трудно, однако я догадался. Они у вожака просились еще побыть на полюшке с полчаса да горошку поесть. Вожак сердито гавкнул, будто сказал: «Полакомились, кишку заморили, на болоте лягушатами заполните остальное». Тогда все журавли встали на одну ногу, вожаку поклонились, а потом закурлыкали слаженно и круг разомкнули, а как разомкнули, то стали разбегаться и в небо подниматься. Я в то время выскочил из бабки и — бабах в синее небо, что в большое поле. Огонь метнулся, журавли рассыпались, загорланили звонко и долго кружились над полем, высматривая, какой дьявол их так напугал. Потом стали вышину набирать, а как набрали, то на свой курс легли и к болоту полетели.

После этого я еще два вечера наведывался на ту полянку, но журавли не прилетали. Горох остался целехонек. Мне председатель за службу пуд гороха из кладовой отвесил. Я тот горох почасту варил, хлебку ту ел и журавлей хвалил. А за что? Конечно, не за потраву гороха. За их земной поклон на одной ноге.

РЫЦАРЬ В ДОСПЕХАХ

Слышали вы песенку глухаря — лесного рыцаря в темно-синих доспехах? Не слышали? Грустно. Тогда послушайте. Советую запомнить. Может, и вам придется весной спозаранок на глухариный ток сходить.

Бывало, под вечер придешь на ток, а в болото без песни глухаря не ступишь. Разведешь маленький костер, чтоб веселее было ждать начала токования, почнешь чаем услаждаться, на водочку поглядишь, а пьешь только на крови. Вечер наступает не сразу, а идет он так тихо, что на гусиных лапках, ступает мягко. Солнышка на небосклоне нет, а все еще светло, и песни глухариной не слышно.

Потом, как солнце погаснет, заря затанцует, услышишь богатырское хлопанье крыльев. Это глухарь подлетает, на сук садится. И замрет — прислушивается. До утренней зорьки не шелохнется, разве разок-другой во сне щелкнет. А под утро, еле проступит в небе зорька, выходишь в болота на подход к токовицам. Пройдешь шага два-три, прислушаешься и снова стойка, молчок. Опять идешь, и вдруг: «Док... док... док...»

Выговаривает глухарь первые слова, и кажется, что он рядом с тобой. Делаешь еще пару шагов. Молчок. Потом слышишь сдвоенное: «Дэкэ... дэкэ...»

А уже потом чистое, неподражаемое: «Тэкэ... тэкэ... тэкэ...»

Будто кто дразнится. Потом как даст созвучный удар: «Диньг... диньг... диньг...»

Только бы глядеть в это время на него да любоваться. Вытянет вперед шею, растопырит крылышки, хвост загибом сделает и давай щелкать. Так он ходит по толстому суку, пощелкивает да невесть куда поглядывает, а как кончится у него языковой запас, то остановится, может голову набок сложить или по суку протянет ее и скажет премило, с напевом: «Вжии-и-ить... чирри-и-ить...»

Поряду с ним, только на другой лесине, глухарка-копалиха приместилась. Тоже тебе артистка. Вытянет вперед головушку, поглядывает да завзято важничает, а потом, как глухарь свою песню кончит, она ему нежно: «Кво... кво... кво... рр-р-р...»

Будто скажет: «Мол, подь сюда, дружок ненаглядный».

А глухарь ей отвечает: «Тэкэк... тэкэк... тэкэк...»

Значит, слети, голубушка, наземь, я к тебе тотчас заявлюсь. И до чего ж жарко снова задокает, задэкает, задиньгает и защелкает — аж из него, бедного, может помет засыпаться. А как замолчит, то высоко голову поднимает, кругом озирается да слушает, не подаст ли снова голос сударушка.

И что вы думаете? Копалиха проквокает, прорыркает и с сука сорвется. Тут рыцарь мой в черно-сизых доспехах не утерпит, слетит с дерева и за ней!

Такое может увидеть не каждый, а кто знает, как глухаря перехитрить — под песню к нему подойти, не спугнувши.

БЕЛЫЙ ОШЕЙНИК

По первой снежной пороше я вышел на проверку ловушек. В ту пору холодновато было. Ветер дул с северного моря. Гнал стужу, да такую, что в первый его подув все лесные озера шугой накрылись. Зайцы будто повымерли, птицы повывелись. Первая пороша была так бела, что от того света глазам больно. Ни одного следика, ни посвиста, ни единого взмаха крыльев. Будто в том лесу никого и не было. А стукоток от морозца шел — далеко слышно. Упадет с елки шишка — и чуешь, как земля буркнет, будто сердится, не хочет шишку пустить на свои плечи.

Иду я по лесочку и примечаю: не такое вчера видел, когда мимо проходил. Валежин не было, березки стояли в золотой одежонке, а сейчас? Ночь раздела их и обсыпала белилами, ветки серебром светятся, а низ багрянцевого оттенка на снег кидает, будто бахвалится: глядите, мол, какой я богатый. Сосенки тоже стоят пошатываются на ветру, что хмельные, глазищами, что за иглами спрятаны, на мир поглядывают да скулят, что змеи шипят: ш-ш-ш-ш-ш-ш...

Прошел я райку, что в пойму упирается, на покосную поляночку вышел. Остановился, закурил и свет божий оглядел. Хотел было пересечь эту пожню и в болото податься, как чую — сосенки зашумели, будто крыльями забили, а как я добром огляделся да глазами в небо сходил — вижу: черно-сизый глухарь крылом шлепает да в вышину забирается. Крылья бьются, аж воздух свистит, и, замечаю я, на шее у того

глухаря бархатистый ошейник белее ¹снега. Не видывал я еще таких. Загляделся. А глухарик и крылышки сложил в воздухе да около меня в ляговину упал, убился. Я к нему. Вот, думаю, добыча. Свеженький, без выстрела. Подбегаю к глухарю и не вижу того, что видел в воздухе. Глухарь есть, а белого ошейника нет. Оглядываю кругом. Маленькая строчка следиков от глухаря обозначилась и в куст жимолости увела. Стою и думаю:

«Кто же проложил такую строчку следиков? Должно быть, ласка или горноста́й — эти не прозевают!»

ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ

Всю лесную кладовую я обошел, все лесные дела узнал, а вот то, о чем расскажу сейчас, видел на своем веку только один раз и, наверное, больше не придется увидеть.

Зима в тот год стояла непогожая. Снег повалился только в начале января, да и то с перебоями. Будто небо тот снег по карточкам земле выдавало. Даст норму, вырежет талончик, и снова жди. Заморозки были тоже не тугие, узелок развязать всегда можно. Во второй половине января пошла заваруха. То метелица улицы прометает, то морока сырая по крышам барабанит. Под конец января как ударят морозы, да такие, что в валяной обуви ноги мерзнут, в шубницах руки стынут. Тут морозу на помощь ветер прибежал да свое поддувало открыл и ну по полям снега перекачивать. Иной день зги не видно, так метет. Какая ж в такие дни охота. Сиди в избе на печи да считай кирпичи, если еще не сосчитаны.

Вот именно в такие дни через нашу Слободскую волость стаи волков из Карелии шли. Много шло. Стая за стаей, а все голодные, тощие. Если мимо какой деревни стая пройдет, то там трам-тарары устроит. Во всех телушечьих да овечьих дворах погуляют да собак погоняют, а коя дура — то и съедят за милую душу, на поминки даже косточек не оставят.

В одну ночь пятеро волков наведались к нам в свинарник. В тот свинарник, что у речки примостился. У нас есть еще и другой, для крупнотельных. Там

их откармливаем да живьем государству сдаем. Зашли волки в свинарник, трех хряков зарезали на смерть. Свиляр кричал, кричал на них, да не помогло, а ружья у него не было. Веником волка не убьешь. Свиляр был не из трусливых. Оглоблю из дровен вывернул да почал ей по волкам бить. Одного огрел, а четверка на свиляря накинута, валенки с ног разула, порты изорвала, ватную фуфайку искусала. Свиляр кое-как из свинарника вылез и за подмогой в деревню прибежал. Колхозники окружили тот свилячий двор, а пятеро, что посмелее, внутрь зашли, а там никого, полное затишье, только свиляьи похрюкивают да друг другу о волках рассказывают.

Казалось бы, на этом беде конец, так нет. Через два дня волчья стая овчарник разгромила. Бандой налетела, окна повышибала, овец порезала. Анну Смехалову, что овчарней заведует, так волки перепугали, что она, бедная, заикаться стала. Сей год, кажется, выправилась. В ту же ночь у соседей в Никулицах волки телку со двора увели. Тут были свидетели доярки, Федора Мигунова да Настасья Почепкова. Так те пикнуть не смели! А в деревне Пажастая волков посередке белого дня трех коз схватила, на загривки кинула — и будь ласков, ищи ветра в поле!

Мужики почуяли, что дело неладное пошло, так можно задарма весь скот волкам продать, решили им отпор дать. Председатель колхоза из области бригаду волкоохотников выписал. Сам лично из волостного сельмага от «Загкожживмолокосырье». . . — не выговоришь, ружья привез. Те ружья скотницам, дояркам, свилярякам и телятницам роздал. Вооруженные с на-

шего председателя порох требовали, а он им отвечает:

— Волки могут железа побояться. Пороха и дробы в магазине на сегодня нет.

Волкодавы не приехали. Их в области в тот миг не оказалось. Говорят, что всю зиму они соревнования устраивают да обучаются волков ловить. Тогда наш председатель колхоза в деревню Демино всех мужиков и баб созвал, кои дробовики, шомполки, центральные ружья имеют, ну и заядлых охотников тоже не обошел, пригласил. Собрание состоялось еще на свету, в избе Никифора Титкова. Изба просторная, теплая. Баба Титкова лежанку натопила, да так, что продыхнуться от жары невозможно. Мужики сидели, терпели, прели. Потом всем стало невтерпеж, шубы пораздевали да на пол улеглись, а кой-кто и на подколенки примостился. Двери из избы на улицу настежь открыли. Пусть изба охлаждается.

Слово держит председатель общества охоты и рыбной ловли, Анфим Запятой. На нем красная в пятнышках рубаха, на рубашке серенький галстук. Волосы черные как смоль, глаза голубые как небо, без искринок и не лучатся, а больше слезятся. Губы толстые, но сухие, он их все время слюнявит. Говорит, не выговаривая буквы «л».

--- Происшедшие свучаи говорят о том, что... во-первых, никто с вовками не занимается, это дево пущено на самотек, ну а вовкам от этого прибывно. Ковхозное мяско жрут почему зря и бесплатно. Я полагаю, что виновны тут и старые охотники, вроде Кирива Маноса, Авфея Медоса, Увьяна Вовнушкина и так далее. Они молчат, за вовками не глядят, вовки

их не боятся, а посему я предвагаю сейчас же организовать штаб по истреблению вовков в составе...

— Пороха дайте! — крикнул кто-то из кутей.

— Соли вместо картечи в заряд не положишь!

— Клюквой не стреляют!

— Простоквашей не заряжают...

Со всех концов избы понеслись реплики. Тогда заядлый охотник Алфей Медос, тот, что потерял на охоте нос, потребовал себе слова, а когда ему его дали, заговорил:

— Кочергой волка не бьют. Порох и дробь в лавках сельпо не продают. «Кожживсырье» говорит так: «Сначала белку иль куницу убей, шкуру с них сдери, высуши и первым сортом к нам принеси, тогда порох и дробь получишь по установленной норме, на один заряд». А чем же эту белку иль куницу убить? В пороховнице пусто. А вы толкуете про волков. Ружья сам председатель на днях из «Кожсырья» приволок, вроде как бы напрокат их роздал, а чем палить из них — ни-ни... говорит, что из них и так палить можно.

Тут мужики захохотали, ободряюще на Медоса поглядели. Ульян не выдержал, руку вверх поднял, сказал:

— Прошу слова...

В это время с жалостным визгом в открытую настежь дверь вбежала дворняжка Титковых, а следом за ней во всю прыть заскочил волк. Собака на печь прыгнула. Волк на лежанку залез, рот открывает, зубами ляскает, хочет собаку достать, да печной кожух мешает. Мужики тут с полу повскакали, кто что схватил и на волка набросились. Волк завертелся то

туды, то сюды. Сначала под кровать залез — оттуда его кочергой выгнали, под лавку сунулся — помелом достали. Проснулись у Титкова малые ребятишки. От страха заплакали. Мужики переругиваются. Один одному советы разные подает, как и чем лучше волка бить. Волк на стол прыгнул, чернила пролил, на председателя общества охотников зубы оскалил, защелкал, будто его хочет съесть. Председатель перепугался, к гобцу попятился, да запнулся и на полу растянулся. Волк тут чихнул, озирается, а деться ему некуда: попал в окружение.

Колотили волка чем попало и во что попало. Он метался, метался, а не было ему ни выхода, ни прохода. Волк вторично на стол прыгнул да на столе своим дерьмом расписался, протокол смочил, а в это время кто-то из запечника в него чугуном с картохой кинул. Тот чугун в волка не попал, а обе рамы на волю выставил, получилась отдушина. Волк того и ждал. Прыгнул в ту отдушину и... ищи-свищи, все равно не найдешь.

Тот волк был еще не смышлен, видно, что прибыльной. После охотники говорили, что его несколько раз в Крутых ямах видели. Он председателю союза охотников поклон посылал да вслед тем охотникам кричал:

— Нас клюквой не убьешь, солью не посолишь.

ПЕТЛЯ НА СВОЮ ШЕЮ

Жил у нас в деревне мужик Евсей Подгузков. Мужик он был вроде бы и ничего, но только уж очень завистливый и жадный да хитрый и неподатливый. Видно, по наследству такой характер к нему перешел. Его покойный дедушка Максим Иванович, когда помирал, говорят, то уже перед смертью золотой проглотил, чтоб никому не достался. Та золотая пятерка так с ним и ушла в землю. В то время покойников не вскрывали и животы им не вспарывали, некому было, хирургов, кои нынче людей режут, не было, а знахарь или знахарка — те что: поплюют на водичку, помолят-ся богу, чертову клятву прочтут — и все. Так вот, с детства Евсея прозвали Сосулькой, а за что? Да за плохую привычку. Бывало, спросишь у него, где отец или мать, так он заплачет навзрыд и почнет сосать палец.

Ну, не надо об этом вспоминать. Мужик он работающий, жизнью наученный. С таким еще жить можно, только всегда надо ухо держать востро.

В военные дни было тяжело в нашей деревне. Своего-то продукта полностью у нас не хватало, а, кроме того, мы ж знаем, почем на войне гребешки, — много помогали фронту. Сами недоедали, а понимали: как хочешь, а чтоб фронтовики сыто кушали. Было время, что и мы в кулак дули да палец посасывали, чтоб не загнуться с голодухи. Маковки толкли да из них лепешки пекли. Старые кости собирали, в ступе уминали и из них похлебку варили. Скусна не скусна

та похлебка, а желудок требует пищи: ешь, что дают. В то время разрешено нам было проводить отстрел лосей. Лосей у нас было навалом. От немцев они бежали. Никак не хотели в плен к ним попадать. Я тогда бригадой руководил, а в бригаду ко мне входили Ульянов Волнушкин да Алфей Медос. Больше людей не было. Ульянов был забракован от фронта по недостатку, которым его наделила природа, а Медос за потерянный нос. Мы много лосей били. Двух лосей фронтовикам сдаешь, а третьего себе возьмешь да по всей деревне поровну поделишь, никого не обойдешь. Евсею такая же пайка всегда выделялась. Так нет же. Сам надумал лосей ловить. Хотелось ему лучше сытого жить, хотя во дворе Сосульки корова молочная стояла да овцы блеяли, куры кудахтали. Как-то в феврале месяце Евсей приволок лося на санках к себе на поветь, там закрылся и освежевал. Хотел было от колхозников скрыть такое дело. Но наши бабы хотя и без усов, но народ не из трусов, а дотошные в войну стали. Все признают. Пришли к Сосулке и спрашивают его:

— Ты сегодня лося приволок?

Евсей молчит.

— Мы тебя спрашиваем. Ты лося приволок на санках?

Тогда Евсей завздохал, с лавки встал, почал оправдываться:

— Это мне заднюю ножку лося никулинский Гриша Пискунов на память подарил.

Бабы расхохотались:

— Долга у тебя память, от Чертовых болот до своих ворот.

Как ни вертелся Сосулька, а бабы все-таки на своем настояли. Пришлось ему половину лося уступить обществу. Но после этого стал по лесу ходить взаходясь. Бригадир принесет утром ему наряд на работу, а ребятишки его, Колька да Марья, отвечают:

— Тять ушел в лес искать костер дров, а если не найдет, то и завтра к вечеру не придет.

Как говорят, пришла к нам в деревню весна красна, много новостей принесла, с собой мед захватила и нас накормила. И то правда, мы тут пестики стали собирать да их варить. Кисличка на пожнях пошла, приправа добрая к щам, да рыбу стали ловить. Вот так и жили не тужили. В поля всем бабьим скопом срядились и Евсея с собой потянули. Работает мужик, землю пашет. Добро пашет, глубоко и мягко. Но недолго. Поработает до обеда — и к себе на огород, а там, как курица в навозе, до утра копается. Грядки под картох и прочую овощь делает. Мы опять же его на собрание пригласили, посовестили, а он плачет, на колени встает да прощения грехов земных просит. Ну, что с ним поделаешь? Ничего не поделаешь. Сердце отходчиво. Бабы пошушуются промежду собой и протят.

Но вот у него случилось несчастье. Корова с выгона к ночи не вернулась. Евсей по пастбищным местам всю ночь лазил, корову искал, а к утру вернулся с плачем. Тот плач на всю Слободу был слышен. Бабам жалко его стало. Как же! У него двое ребятишек, Колька да Марья, и жена Аксинья на сносях. Тоже есть хотят. Решили Евсею помощь оказать. Хоть и страдная пора была, надо хлеб сеять, а всей деревней в лес вышли корову искать. Искали день,

искали два, а она как будто сквозь землю провалилась.

Тогда Сосулька пришел в контору колхоза и говорит нашему председателю, Елене Курочкиной:

— Что, брат, поделаешь, корова не игла, что на стол легла, — видно, не найдешь. Нельзя ли выделить для меня из колхозного стада доечку?

Елена подумала, подумала, да и говорит:

— Посоветуюсь с правлением, а потом на общее собрание вынесем, обсудим, что и как.

— А вы бы это одни смастерили, — начал уговаривать Евсей председателя.

Елена тогда вспыхнула зоренькой ясной, Евсею прямой ответ дала:

— Я не торговка, товару у меня нет, а посему вот тебе весь мой ответ.

Однако собрание решило выделить какую-нибудь доечку для Евсея. Не его бабы пожалели, а ребяташек и Аксинью. Уж больно Аксинья ретива к работе была. На Евсея нисколько не похожа.

Через неделю Сосулька со скотного двора доечку увел. На радостях даже песенку спел, а какую, я не припомню. Но тут и след коровий отыскался. Ульян тот след нашел. В контору прибежал и Елене сказал:

— Сосулькина корова нашлась.

— Где? — повеселела Елена, наш председатель.

— Да тут, совсем недалеко, — Ульян засмеялся. — В ближнем лесочке, между двух лесин стоит.

Пригласили Евсея Сосульку да для приличия взяли двух понятых, вроде для создания комиссии, и пошли за Ульяном. Ульян их на место привел. Евсей, как увидел свою корову с петлей на шее, заревел,

будто под убоим, да и говорит председателю колхоза:

— Это не я, это она сама себе смерть нашла. Я ее в петлю не толкал, сама зашла. Не гневайтесь на меня.

Тогда наш Ульян не сдержался от гнева, Евсея по тыльной части сапогом проехал, да и говорит:

— Вставай, Сосулька. Мы не рязанские иконы, нам нечего молиться да слезы лить. — А когда Сосулька встал, Ульян спросил его, да так строго, что Евсей перепугался: — Ты зимой эти петли под лося ставил?

— Я.

И тогда наш председатель Елена Курочкина ему сказала:

— Вот и сделал эту петлю под свою корову.

Может быть, понял Евсей. Дальнейшее покажет.

Только в тот же день сам Евсей привел дочку, которую ему колхоз выдал, на скотный двор и, ставя ее в стойло, про себя проговорил:

— Дуракам счастья не бывает.

Привычка — дело большое, от нее скоро не отста-нешь. Вот так и я привык смолоду за собой ружье волочить, так куда б я ни шел, за чем ни шел, а раз в лес пошел, то всегда за спиной ружье болтается, будто кочерга, а ложка по подколенкам колотит, что колотушка.

На днях я пошел на Ноздрегу-реку. Страсть как захотелось форели половить. Поряду со мной шел мой давнишний приятель Ульян Волнушкин. Интересный парень и тому прочее. Смолоду его звали Ульяной, Ульякой, мать так у попа окрестила, а поп в святцах такое имя нашел и записал в метрики. Так Улья в Ульяках все детство проводила. Наряжалась в платья, песни занятные пела, но как ни говори, а природу не обманешь. Батог о два конца — который крепче, тот и выдержит. В восемнадцать лет Ульяне приспичило, и почала она за девушками, этого-того, ухаживать и тому прочее. После этого скинула с себя девическое одеяние, в подштанники оделась да пиджак стала оболокать на плечи. Костюм новый себе завела, серенький с белой полоской, а подкладка шелковая. Заводить ей было просто. На работе огнем горела, всех мужиков за пояс затыкала, перегоняла. Деньги в колхозе порядочные зарабатывала, а как в механизаторы вышла да трактор водить почала, то и молва о ней по всей области хорошая пошла. После этого Ульяну перекрестили, и ее имя изменили, стали Ульяном звать, значит, парнем.

Денек выдался теплый. Солнца хотя на небе и не было видно, но все равно вокруг истомой пахивало. Накрапывал мелкий дождик. Пришли мы с Ульяном в Кивручейские пороги, что расположены недалеко от Андомского погоста, и встали у одного омута, что загогулиной в калачик обозначен. По берегам черемушник растет, ягода почернела, смородина тоже поспела, да и малина стала краситься, губки набодить.

Размотали удочки, насадили червячков на крючки и в тот омуток лески закинули. Ульян сел на обрубок ели подле бережка, а я на коряжину забрался. Так сидим и ждем поклева. Погодка поклевочная, а клева нет. Что ж поделаешь. Для скоротания времени оба закурили. Ульян попыхивает сигаркой да мне кой-какие словца бросает. Я их имаю и ему отвечаю. Ульян первый выловил форель с ложку, сунул ее в побирушку и спрашивает:

— А что бы ты, Кирилл Петрович, стал делать, если б в сию пору перед тобой матерый волк встал?

— Дал бы ему пороха понюхать, — отвечаю я ему, и глаз мой, наметанный на поплавах, вдруг на другой берег слазил. Я сразу увидел того, о ком сейчас речь шла.

Прямо перед нами с крутой горушки к речке два волка спускались. Один с проседью по хребту, а у второго на спине бурая шерстка. Спустились к реке, языки повысовывали, воду полакали и друг на друга поглядели. Я гляжу на Ульяна, а он глядит на меня. У Ульяна ружье между ног стоит, стволинами вверх, а у меня подле себя на коряжине лежит. Взять бы их,

взвести курки да в волков пальнуть, а мы так развоздыхались, что и про ружья забыли. Уж больно они скусно воду лакали. По нраву им пришлась ноздрегская водичка.

Досыта волки напились той воды, мордочки в воде пополоскали, ноги помыли да повернулись и снова в горушку от реки пошли. Под их ногами чапыжник заговорил. Я в ту пору разглядел, что один был самец, а вторая самка. Сейчас эта пара вместе ходит, а как подрастут прибылые, почнут их волочить на все прочие пакости, учить начнут, как себе пищу добывать.

Под ногами волков недолго говорил чапыжник, скоро затих. Значит, те волки на сухую поляночку вышли. Тогда я вздохнул, глаза на Ульяна метнул, заговорил сердито:

— Чего ж это ты, Ульян, глаза на волков вылупил? Чего ж ты, славный механизатор наш, в волков из ружья не палил?

А Ульян улыбается мне и негромко отвечает:

— Не больно-то хотелось. А ты почему им пороха понюхать не дал?

— Почему... почему... — передразнил я Ульяна и увидел, что в это время у меня форель клюнула, подсек ее и вытащил славную красную рыбицу со звездочками на боках, погладил ее, прикинул на руке вес, в сумку положил и снова на Ульяна:

— Почемукаешь-то ты добро, а вот за ружье при виде волков не схватился. Струхнул, что ли?

— Нет, — отвечает Ульян. — Я не струхнул, а совсем забыл, что мое ружье у меня промежду ног стоит. Я было его искал, по кусточкам глазами лазил,

да не нашел, а вот вспомнить, так правда не мог. Забыл, куда ружье ложил.

Потом мы оба, что по команде, вздохнули и оба захохотали. Хохотали входясь, да так громко, что наш смех был слышен у мельничной плотины. А как прохохотались, то в один голос без обиды проговорили:

— Проворонили, воздыхатели.

— Октябрь остановился у калитки, просится — впусти, а я ему говорю: «Обожди еще, сентябрь не весь ушел. Вот когда он весь уйдет — тогда милости прошу к нашему шалашу. А пока...» Что там пока?

Шли последние сентябрьские дни. В тот год снег выпал рано. В половине сентября его насыпало столько, что щиколотку закрывало, а в конце месяца еще подвалило. Вот, думаю, когда настал хороший гон зайца. Собрался я после работы на пасеке, там кое-что доделывал, отеплял пчелиные ульи, и пошел к Голубым озерам. Поряду со мной кобелишко Рыдай идет. Рыдай мне подарили в области, и я его держу вроде бы за счетчика. По веснам хорошо тетерок считает. Так я дошел до Николиной поляночки и за вечерял. Пришлось пойти в избушку и там переночевать.

Ночь проспал без сновидений. Утром выхожу из избушки и вздыхаю. Вот так поохотился по следикам! Снег-то за ночь весь растаял, будто его совсем не бывало. Ну, да что поделаешь! Всякое в жизни бывает, конь о четырех ногах, а оступается. Посидел, поразмыслил и надумал. Попробую поохотиться. Может, Рыдай зайчонка поднимет, а я его, этого-того, в мешок уложу. Подозвал к себе Рыдая, корочку хлеба дал, тот на радостях хвостом завилял, мне спасибо сказал, тот кусок съел и в кусты убег.

Тут и я пошел по озерному берегу. Ноги сразу посырели, так как левый сапог прохудился в подошве,

а правый в голенище. Иду тихонько и наблюдаю за кусточками. Чую, что там мой кобель шарит. Может быть, самому собакой по кустам полазить? Снег сошел, след смыл, собаке трудно работать. Только подумал я это, как неподалеку от меня в мелком березнике Рыдай тьякнул. Тьякнул и замолк. Но вскоре залился так азартно, что меня задористость забрала. Встал я на место выхода зайца, жду... Голос Рыдая то удаляется, то приближается. По мере гона и сердце мое то круто колотится, то замирает, а потом как екнет. Прямо на меня вростяжку бежал заяц-беляк. Я вскинул ружье, бабахнул и... белячок покружил на одном месте и упал. Я подбежал к нему и, чтобы не дать его рвануть собаке, быстро уложил в мешок и затворил. Значит, с полем.

Бежит Рыдай, язык высунул, гомонит, что плачет, спрашивая: «Где заяц? Куда делся? Промазал? Тоже охотничек...» Я снова Рыдаю корочку хлеба — не берет, зубы скалит, точно ругается: «Ты мне заячью лапку да его потроха подай. Нечего корками задабривать!..» Ну, я, конечно, промолчал и дальше пошагал. Ходил, ходил, а никакого толка. Будто весь лес повымер, птиц не стало, зайцы убегли. Тишиной попахивает, с лесин капли падают, булькают, а я иду, приглядываюсь, прислушиваюсь. Рыдай сгинул. Голоса не подает.

Устал я от такой ходьбы и присел на пенек возле березовой рощи, что вплотную к озеру жметя. Покликал Рыдая. Нет. Голоса нет, и его нет. Видно, рассерчал и домой убежал. Я его звал и так и этак, даже в трубу протрубил, а он исчез, будто околел. Сижу я в раздумье, ружье у березки стоит, в руке березовый

посошок держу, с ним в гору поднимался, и думаю. Поле у меня есть, в мешке уложено, можно и до дому. Но прежде надо утолить голод, кишку заморить, — значит, поестъ досыта. Снял я свой мешок, развязал, белячка из мешка вынул, рядом с пеньком на травку положил, хлеб достал, ломоть сала отрезал, сижу и с аппетитом жую, ни на что не обращаю внимания.

Вокруг меня такая заманчивая тишина, что не преминешь сказать — занимательно-благоухающая. Пахнет смолкой да рыжичьим отваром, нет да нет — с озера потянет осокой. Славно! Съел я ломоть хлеба, губы облизал, чтоб не потрескались от влаги, встал да руками за штанины взялся, карман почал щупать, а в это время мой белячишко как оживится да молнией прыгнет от пенька в кусточки! Только я его и видал. Но я не растерялся. Следом за ним побежал, а тут мой Рыдай свой ангельский голосок подал да как запел, запел, прямо-таки с заглотом. Я остановился у березки. Ожидаю — куда голос Рыдая покажется. Чую, голосок на меня идет, а тут и зайчонка беглый прямо на меня коlobком катится, не спешит, а трусит. Я взял прицел и, подпустив его на близкое расстояние, — бабах... Нажимаю на спусковой крючок, а выстрела нет. Копаюсь, ищу спуск и никак не могу нащупать. Тот заяц мимо меня, что сумасшедший промчался, а я все еще спуска не ущупаю. Смешно... Когда Рыдай снова загомонил в другом месте, уже по ту сторону озера, я оглядел сам себя и выругался. В моих руках было не ружье, а березовый посошок, а ружье, моя тулочка, у березки стояло. Срам-то какой. Только прошу вас об этом тулякам не

рассказывать — засмеют. Так в тот день я домой попом воротился.

— Ну, а заяц-то почему фигу показал?

— И на это могу ответить. Патроны у меня в тот день были заряжены под картечь. Пороху густо, а дробь пусто. Когда я стеганул по зайцу, то одна дробина ему попала в проушину и, стало быть, контузила его. Тот заяц в беспамятство впал, а когда в мешке отсиделся, в себя пришел, а я... его сам же и на волю выпустил. Своими руками!

— Хаживали ли вы по Шожемским суземам? Не хаживали. Советую. Я там много раз бывал, почитай каждую деревину щупал.

— Загибаешь.

— Нет. Разгибаю. Мне за загиб никто спасибо не скажет. Так вот, от самой станции Шожма вьется узкая тропинка в шожемские деревеньки. Из озера Пельшма течет эта речка. Неширокая, неглубокая, так себе, одно название, а как в суземы вырвется, так ширится, шумит, вздувается. В реке рыба водится: хариус, налим, щука, плотва и разная прочая.

В теплый майский день я с приятелем, Ульяном Волнушкиным, приехал на станцию Шожма, а оттуда вечером по прохладе пешими до деревенок дошли. Шли, не торопились, воду в лужах мутили да грязь месили. К месту подошли, огонек разожгли, погрелись, и зорька подошла. Кругом все пляшет от избытка сил. Истома и все тут прочее. Тетерева поют, аж из себя выходят, певчие птички чирикают, точно подвыпившие, веселятся, а мы с Ульяном хариусов ловим. Лов был незначительный: видно, все хариусы в уху сварились. Почему, спрашиваете? А потому, как деревня Шожма еще в лето двадцатого года была кулаками подожжена, так страсть как горела. На полверсты нельзя было притулиться — обожжешься. Дома в деревне пятистенные, из всего лесу срублены, крыши тесовые, сенники полны кормов, а в деревне старые да малые ребяташки, и те, почуя пожар, к реке Моше

махнули, там спасение. Дома в ровных рядовках тесно жались друг к другу, и стояли они у самой реки. Говорят, что в водоразлив шожмаки из окон хариусов ловили — сильнейший клев был. Как пожар пошел чесать деревенские постройки то и вода в реке закипела, а рыбка животы от этого повернула — сварилась. Говорят еще и то, что после пожара шожмаки две недели уху из реки хлебали, да посолить забыли, вот так и жили. Днем мы с Ульямом на пойме отдыхали, а вечером к лесочку подошли. Тут окуни водились, да и хариусы покрупнее были. Ульян остался у ключей, а я на припечинку в полянки вышел. Пять хариусов выловил и свой взгляд к лесочку на пригорок направил. Удивительная вещь... Там на зеленой лужайке зайчонка на задних лапках стоит и ноздрями воздух ловит. Потом присел на травку, хватил молодую травиночку и задними ногами о землю забарабанил, загоготал: «Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо...»

Точно в воде забулькал. Потом вижу — на этот говорок из кусточков другой заяц бежит, шустрый и более упитанный. Подбежал, вокруг обскакал, низко поклонился. Я тут понял, что прибегший — это кавалер, так как важничал своей белой оторочкой на штанах. Когда кавалер поклонился, дама передними лапками по его мордочке погладила, что-то томное ему сказала, не то «добро пожаловать» иль, может, «здравствуй, ласковый». Трудно было разобрать их бобоканье. Кавалер отбежал от дамы шага на три, о землю ногами топнул, зачем-то издал свистящий звук, а дама передней лапкой у него на голове пробор сделала, сама пригладилась, чтоб кавалеру понравиться, на спину перевернулась, закокетничала. Кавалер ее

грубо ударил лапой, под себя подмял, а потом как ужаленный умчался прочь. Видно, меня заметил иль что другое его напугало. Но нет. Снова прибежал. Что-то бобокнул и вновь повторил пройденное.

Смотрины продолжались пятнадцать минут. Дама капризничала, кавалер важничал, а я ждал, что же будет дальше.

— Ну и что ж было дальше?

Манос улыбнулся, глаза закрыл, будто сквозь сон ответил:

— Так, ерунда. Самодеятельное представление.

ЭТО БЫЛО ДАВНО

В старину мы ружей за собой не волочили, совестились народа. Так уж в ту пору велось. Идешь, бывало, по деревне к заполью, если ружье на плече висит, увидят добрые люди — засмеют, а бабы заповизгивают:

— Бобыль в лес пошел, дров не нашел, чучело поставил — хлесь из ружжа без правил.

Нас, охотничков, лодырями считали да бездельниками величали, а охота, скажу вам, была и тогда очень забавная, да и статья в хозяйстве доходная. Но мы все упреки терпели. Я сызмальства к охоте приистрастился. У своего покоенка дедушки научился. Справный охотник был. Ружья не имел, всякую дичину в силки ловил. К примеру поясню: зайцев да горностая с куницами дед ловил в самодельные клепцы, выдру приманкой да петлей из конского волоса, а медведя рогатиной потчевал; бывало, насквозь продырявит — силища у него была, да и смекалки ворох. Скупое у нас в те поры было с деньгами, взять их негде, а порох да дробь дарма не давались, непременно нужны были деньги. Конечно, давали и без денег, так в счет пушнины, но крутит купец, вертит, пятак платит, а пушнину за бесенок берет. Но мы с дедушкой ни в жисть на посулы не шли и в счет пушнины у купца ни черта не брали. Выручали нас тропки да стежки-дорожки.

Бывало, пойдет дедушка по своей охотничьей тропинке и меня за собой поволокет и велит мне заме-

чать, что и как поставлено и как та или иная ловушка называется. Силки под тетеревов, так те обязательно на земле и чтоб пружинились, пружину дедушка мастерил из вересовой веточки. Ступит лапкой черныштетерев иль куропатка белая, нажмет педальку на сторожке, и будь ласков — сразу взлетит в петле и повиснет на лесине. Такого ни горностаи, ни лесная мышь, ни проказница лиса не сожрет, в целости оставит. Под глухарей мы ставили ловушки-слопцы, а под рябчиков подстилочку с рябинкой. На лисицу дед ходил с приманкой — либо на живую кошку, иль с жареной курицей — и тоже ловил в клепи. Такие остались еще от прадедушки Асафа. Клепи перед становлением дедушка дресвой натирал да в можжевельнике парил, чтоб запах от железа отогнать. Рогатин на медведя у нас сохранилось три штуки. Они до сих пор у меня на повети под стропилами жируют. Одна рогатина взаправдашняя, ее из Архангельска дедушка привез, будто штык трехгранный, другая самодельная — двухострая, третья что те сенные вилы. Каждая из них не по одному медведю достала. Бил медведей рогатиной прадед Асаф, бил той, что похожа на сенные вилы, и там тридцать две зарубки, — значит, Асаф достал тридцать два медведя, а вот коя двухострая, на той счета нет, много зверя сгублено. Один только мой дедушка, Петр Васильевич, той рогатиной заporол сорок пять медведей, да на сорок пятом его сама медведица достала. Все волосья на голове вместе с кожей на загровка завернула. Выстоял старый. Попосля взаправдашней, архангельской рогатиной еще убил пятерых да двух живых медвежат в град Питер сдал.

А ружье? Было у нас в семье и оно. Кремневое

было. Но висело в закутке вроде кочерги, а потом дядя Паша тот ружейный ствол для самогонного аппарата употребил. Не ружье, а наказание. Бывало, идем с дедусей по поляночке, сидит зайчишка да лапками мух отгоняет. Дед так и этак, метится ружьем в зайца, пыхтит, кряхтит, порох из рога на полочку сыплет, а потом курок на кремьнь спускает. Стук... и осечка, стук... и снова сыплет порох — не берет кремьнь. Дедушка на кремьнь ругается, меня рукой к себе манит: мол, внучек, спичку зажги да порох на полочке подожди, а пока я подпаливаю порох, зайца след простыл. Дедушка плюнет, выругается — и снова в путь. Вот как было. На лету птицу такой палкой не убьешь.

Хочь худо ружье было, но мы без добычи в дом не приходили. В ту пору и охотников-то у нас в волости были я и дед, дед мастер, а я подмастерье. Лес наш широкий, густой, березовые рощи, сосновые бора, елочная прозелень — все зовет, манит, и кажется тебе, что именно в этом лесу и есть твое собственное счастье, твоя жизнь. Взойдешь, бывало, на Серегову поляночку, с нее далеко лес виден, голубой лес с ярко-зелеными заплатинками, будто лес-то тебя величает, о тебе песни поет, тебя в свой дом зовет. Особливо хорошо в лесу осенью, когда он свой наряд меняет. Золотистые наши места. Как только с полей увезут ржаные снопы, на полянках останутся бабки сжатого овса, тогда мы с дедушкой для птицы ковши ставим. Нарубим махоньких колышков полсотни, установим их по ряду в круг воронкой к матушке земле, переплетем ивовыми вицами, а на вершинки тех колышков пучки овса навесим. В середине ковша воткнем еще

один колышек, выше всех, к нему приделаем палочку вроде часов, на палочке приманка. Черныш до овсянки любитель, прилетит на кормежку, сядет на палочку, чтоб овсецом попотчеваться, и сразу палочка качнется, черныша в ковш свалит, а оттуда ему уже не взлететь, размаха нет.

Недели за две до Богородицына дня мы с дедом в Верховье поехали. Кобыла наша малоупитанная семенила по увалам, телегу двухколесную за собой волокла. Я сидел в одре, а дед лаптями дорогу мерял. Заехали в овсяные поляночки, стали ковши осматривать. Один пуст, другой тоже, в дальнем ястреба-тетеревятника вынули, дивом залез. На самой вершинке, у березника, еще ковш стоял. На него мой дед расчет делал — завсегда выручал. Подъезжаем к тому ковшу и... наказание, да и только. Ковш-то от самой земли до верхотины чернышами да тетерками набит — будто кто их рукой наложил. Обрадовались. Дед балахон с себя скинул, перекрестился и кинул тот балахон поверх ковша. Птица испугалась и давай в ковше полошиться, сильный переполох устроила. Ивовые кольца не выдержали такой силы, обручья по ковшу лопнули, черныши да тетерки наружу повысыпались и давай в себя приходиться да скорей разлетаться кто куда. Дед стоит у ковша, улыбается:

— Летите, да вдругорядь не попадайтесь.

Мы тогда взяли только пару чернышей для варева да тетерку на жаркое. Остальные в болото улетели, а потом оттуда нам долго квокали да чуфышкали, то ли спасибо нам говорили, то ли смеялись над нами — понять трудно.

КАК АЛФЕЙ МЕДОС ПОТЕРЯЛ СВОЙ НОС

В одной порядковке с моим домом, только чуток на отшибе у заполья, красовался домик с мезонином да с верандочкой с южной стороны. В том доме жил справный мужик Алфей Медос. Мужик он был работяга, да и силенкой его матушка не обидела, полностью наделила. В плечах Алфей был не широк, руки как будто сухожильные, но силенки было много, хоть взаимы отдавай. Было однажды дело в сенокосную пору. В Тиневатом болоте сивый мерин Алфея по уши завяз, так Алфей того конягу один вытащил из грязи, домой на волоках привез да с ним отваживался и на ноги поставил. В молодости красотой тоже был не обижен. Девки не чурались. Глаза голубые да искрестые, губы хоть и толстые, но мягкие, такие девки обожают. Нос? Какой у него славный был нос, загляденье. Прямой, с горбинкой на перекладинке, статный нос, и вот такого-то носа Алфей Медос лишился смолodu, потерял его. Только женился на Аленке Крутой и потерял самую главную приметину — нос. После той потери его часто мужики спрашивали:

— Алфей Медос, куда дел свой нос?

Медос улыбался без обиды и ответ давал:

— Девкам полюбился мой нос, а леший не стерпел супостата, оторвал и в лес унес.

Бывало, что и ребятишки из любопытства спрашивали:

— Куда, Алфей, ты дел свою носину?

Опять же Медос с усмешкой ребятам отвечал:

— Свою носину я повесил на осину.

Бабы, так те часто приставали к нему:

— Скажи, Алфей Медос, куда исчез твой славный нос?

И не надоело ему ответ давать. Не сердился, а все шутками да прибаутками:

— Уехал в лес по дрова.

Ну конечно, от надоедливых иногда отмахивался, да почаще стал в молчанку играть и тому прочее.

Такая необыкновенная история случилась даже очень обыкновенно, на вечерней заре в Зареченской овсяной полянке. Мы с Медосом оба к охоте пристрастие имели, ружья у нас были, и помалу дружили. Как-то в полдник — я в тот день жал рожь в Горбушинской полянке — пришел ко мне на полосу Алфей, встал перед моей женой во весь рост да как гаркнет:

— Бог на помощь!

Ну, а потом сели рядышком, закурили, кое о чем поговорили, а о главном наедине пошептались. Моя жена смекнула, куда ветерок потянул, ко мне подошла и молвила:

— Киря, рожь надо дожинать, а не с полосы бежать.

— Я еще не побежал, — ободряю ее.

А она:

— Слышать не слышала, о чем ты с дружкой шептался, а чует сердце — по медвежатинке соскучился.

Я улынулся своей Авдотье, ее за белые руки взял, в глаза поглядел, спросил:

— Откуда у тебя, Авдотья, такое чувствительное сердце? Рыбу чуешь, мясо чуешь, медок тоже, грибок сразу распознаешь, а? . .

А она перебивает меня, смеется:

— Матушка таким чутьем меня наделила, чтоб я с тобой веселей работы справляла. — Потом меня за руки взяла, уговаривать стала: — Не ходи, Кирюша, чувствует мое сердце, неладное с вами случиться может. Под ложечкой посасывает.

— Ладно, — отвечаю я ей. — Под ложечкой-то еще ничего, сносно, а вот ежели под подбородком почнет сосать, это уж бессносно.

И еле-еле дождался я солнцезаката, как Алфея встретил, и скоро мы нагрянули на ту поляночку, которую медведь посещал. Я по молодости для себя лаз в елочках устроил, а Алфей, так тот прямо в борозду залег.

— Прямой наводкой бить буду, — говорит он мне, — а коль промажу, то прощай белый свет и моя жена без ребятишек.

Алфей ни черта не боялся. Он был меня старше года на три, силой владел за троих, не то, что я. Мне мешок с рожью едва на плечо поднять, а он таких три поднимет да говорит, что маловато.

Ружья у нас были старомодные, катаные да кованые. Такие самопалы нам от прадедов остались. Наши деды их за собой по лесу волочили, деды тоже из них хлестали, а отцы, так те совсем примастерились, бабахали в зверя, что из винтаря. Вот так и нам приходилось. У меня была шомполка-пистонка, из нее пальнешь, что из миски щи разольешь, на близком перешейке была очень убойная. У Алфея ружье было долгоствольное с граненой загогулиной на конце. Для того чтобы зарядить такое ружье, надо было на стул вставать и с него порох и дробь засыпать. Но на даль-

нем расстоянии било прямо наповал, без пощады било. Одно было неладно с тем ружьем, что прежде чем бабахнуть из него, то зимой надо сначала руки отогреть, порошку на полочку насыпать, кремь просушить, потом уж только курком тукнуть. Выстрел громкий. Алфей приладился с того ружья палить без посыпки пороха на полочку, а серной спичкой. Сначала идет вонь, потом вспыхнет огонь, а затем уже грянет выстрел, что тот гром, слышно в каждом деревенском доме. Алфей любил ружье, и я тоже свое не обегал.

В ожидании прихода медведя мы оба сидели в полной тишине: как говорится, ни чихнуть, ни скашлять. Сидим, молчим да в уме прицелы наводим, как будто медведь уже на полянку вышел. Вечерняя заря на покой ушла. Журавли в болоте прокудрявили и тоже успокоились. Одни сороки летают промежду нас и разговорчики ведут, живое чувуют. Что они говорят, я не знаю. Может быть, над нами смеются. Только я это подумал, как слышу: за спиной изгородь треснула, да так, что тот трескоток простонал по всей уреме. Изпод ольшанин, что разметались у межи, вылезает тот, кого мы ожидаем. Большой, мохнатый. Идет и пасть свою открывает да зубами цокает, от комаров отбивается. Алфей лежит что мертвый, не шевелится, а я весь вспотел, будто в парной сижу. Ноги трясутся, руки чечетку выбивают, а сердце взаходясь прыгает. Медведь почти рядом с моим лазом, шагах в десяти от меня идет прямо на Алфея. Идет, и хоть бы ему что: не слышит, не замечает. Я стал прицел брать, да рука спуска не может найти. Все во мне ходит, что с похмелья.

В таком состоянии, конечно, я стрелять не мог. А медведь все шел и шел прямо на Алфея. Расстояние между ними осталось самое малое. Вдруг вижу: Алфей спокойно встает, будто руку медведю для приветствия протягивает, а это он ружье в него наставляет да серную спичку поджигает. Вижу, сперва огонь из дула выскочил, а потом и гром грянул. Медведь пошатнулся, на задние лапы присел да как заорет, аж у меня волосы дыбком поднялись. Не знаю, что мне делать: аль из ружья в зверя стрелять, аль слезть с лаза и в атаку кинуться? Стрелять было далеко. Нужен был подбег, чтобы зверя убить. Но я ни туды ни сюды. Как будто к лазу прирос, не могу ног пошевелить, а руки трясутся, будто в лихорадке.

Потом вижу, Алфей в свои охотничьи шмотки полез: видно, за зарядом, а в это время медведь ему на встречу пошел, с ревом пошел, — видно, что ранен. Алфей не успел ружье перезарядить. Медведь правой лапой выхватил его у Алфея и в сторону кинул. Далеко ружье отлетело. Что тут было делать? Убегать уж некогда. Алфей крикнул, ватник с себя снял и руки к медведю направил, схватить его хочет. Давай, мол, поборемся, кто кого. Сначала Алфей метил медведю головой пониже пасти, а руками хотел обхватить его горло и душить до изнеможения, но, видно, не успел. Медведь зубами за его лицо схватил. Лапами обхватил Алфея, давить стал, и почали они ходить вокруг да около полоски с овсом. Алфей жмет медведя, давит ему глотку, медведь хрипит, старается наверх Алфея залезть, да пока у него не выходит. Алфей все время медведя на руках носит. Задними ногами не дает ему до земли упираться, а оторвавшись от

земли, медведь стал силу терять. Так крутил да давил Алфей медведя, а я в это время с лаза слез да стоял под ним и ждал: что же дальше будет? А дальше Алфей почал уставать, стал покачиваться да что-то покрикивать. Тяжел был медведь. Тут и ко мне спокой пришел, да и совесть моя заговорила: «Совершил, парень, один грех, второго не делай». Я о ружье забыл, к другу своему на помощь поспешил. Силы как будто во мне прибавилось. Подбежал и вижу: Алфей весь в крови, лица на нем не видно, а сам все кряхтит да медведя давит. У медведя язык высунулся из пасти, зубы оскалены, а правая боковина тоже в крови. Видно, Алфеева пуля тут себе место нашла. Алфей почувствовал мое присутствие и через силу, с хрипом говорит:

— Тюкай проклятого топором по голове. Поскорее тюкай, а то силы мои на исходе.

Я туды, сюды, топор стал искать. Бегал, крутился около елки да вокруг, а топора нет и не могу найти. Куда девался? Потом вижу — за голенищем правой обуви у Алфея черенок ножа торчит. Подбежал, черенок схватил. Нож лезвием блеснул, а я опять туды-сюды, не знаю, как и с какой стороны и в какое место медведя ножом резануть.

— Кирька, дьявол, скорей, медведь меня сильно давит! — прокричал Алфей.

Тогда я подскочил к медведю — и ну его в брюхо ножом пырять. Пырнул раз, подскочил снова, пырнул два, подскочил опять, и так делал пять раз. Надрез шестой покончил медведя. Кишки вывалились на полосу. Медведь обмяк. На бок начал сваливаться. Лапы с Алфея спустил. Алфей легче задышал, потом

перекрестился, стал кровь с лица обтирать. Я поглядел на Алфея и обомлел. Нос у него был откушен весь, подчистую. Несмотря на такую рану, Алфей спрашивает:

— Почто топором его не тюкал?

— Не мог топора найти, — отвечаю я ему.

— Дурак, — говорит Алфей, — погляди около себя. Твой топор у тебя за кушаком торчит, а ты вчерашний день ищешь. Жалко. Всю медвежью шкуру, дурень, ножом испортил. Теперь ее забракуют.

Но и я в это время, как повернул руки, чтобы топор за поясом пощупать, боль почувствовал. Рукой по тыльной части тела провел. Руки в крови смочил и только тогда понял, что и на моей тыльной части медведь отметины сделал. Алфею сказал:

— Меня тоже медведь когтями приласкал.

Алфей побледнел, ответил:

— Медведь хитер, востер, не увидишь, как трепака задаст.

Потом мы повертелись вокруг туши медведя, на него сели, кой-какую перевязку себе сделали. Алфей к кособору сбегал, оттуда заячьих ушков принес. Это такая лечебная трава в лесу растет. Той травкой место, где был Медосов нос, смазали да листик к месту приложили и тряпочкой перевязали. Я все порты изрезал на ленты и на бинты да тыльной части тоже перевязку сделал. Потом, как оба привели себя в порядок, закурили, сладко курили. А как кончили курить, то Алфей сказал:

— Давай, Киря, мой нос искать.

Все место исходили, руками землю ощупали, а носа так и не нашли. Алфей грустно вздохнул:

— Зазорно в деревне без носа появляться. Ты, Киря, полегче меня проздравлен, почни свежевать медведя да погляди, может, мой нос в желудке у него застрял. Я, Киря, в больницу побегу. Ты меня попрося там нагонишь.

Так я и остался свежевать медведя, а Алфей через Саминские суземы в волостную больницу побежал.

С медведем я обрядился. В хоромы его приволок, порченную шкуру снял, все потроха выглядел, в руках перебрал, а Алфеева носа так и не нашел. Видно, желудок успел его переварить. Тушу медведя на две половины рассек топором да одну половину Алфеевой женке сволок, другую по соседям роздал. Ешьте вволю, нисколечко не жалко.

Моя ранка стала признаки боли подавать. На стул стало невоготу садиться. Вокруг синева, да па теле волдыри пошли. Авдотья в баню меня водила, там веником лечила, но не помогло. Хотя и стыдно было мне показывать врачу свою тыльную часть, но все же пришлось решиться.

Пришел я в больницу под вечер. Там все закрыто. Одни две девки бегают по коридорчику. Я спрашиваю:

— Где тут лекаря повидать можно?

Девки в оба голоса отвечают.

— Недавно лекарь был, но весь вышел.

— А куда? — опять же спрашиваю я.

— Нам не сказался.

— Подождать можно? — спросил я у девок.

— Подожди, если свободное время у тебя есть.

— Нет, — отвечаю я девкам, — да что поделаешь.

Раз надо, так надо. Подожду.

На мое счастье, тут лекарь подвернулся, на меня глядит, спрашивать стал:

— Чей?

— Мамкин, — отвечаю ему. — Из деревни Слобода.

— Фамилия у тебя есть?

— Конечно, есть. Манос моя фамилия, а зовут Кирюхой.

— Кирюхой? — недослышав, переспросил врач, а сам рассмеялся и меня к себе в покои повел. Там стоял большой стол, простыней белой накрыт, шкафчики со стекляшками, а в них на полочках стеклянные да блестящие дудочки, так бы и пощупал их, да стыдно. Лекарь велел мне порты снимать. Стыдно было, а пришлось. Оголился весь. На виду у лекаря встал. Он оглядел меня, ощупал и головой покачал.

— Операцию, — говорит, — тебе надо делать.

— Ладно, — отвечаю я ему. — Препарацию так препарацию, ничего тут не поделаешь. А больно это?

— Не особенно. Терпеть можно и надо.

Положил он меня на стол вниз животом и почал мое тело ножом полосовать. Я лежу, зубы сжимаю от боли, пот на лбу катится, а я молчу, надо так надо.

— Не больно? — спрашивает меня лекарь.

— Валяй, коли начал, — отвечаю я ему.

— Потерпи, — уговаривает меня лекарь, а сам все копается, чего-то снимает, зачем-то ножичком мое тело подрезает да спиртной тряпкой те места вытирает. Я лежу. Терплю. Потом лекарь, видно, препарацию закончил и чем-то мою рану смазал, аж от того самого смазывания меня холодный пот пронял, тут, брат, не утерпел и простонал.

Лекарь улыбнулся:

— А! Наконец-то пробрало. — Потом добавил: — Теперь все. И добер ты силой, мужицкий сын. Завтра полегчает и ранка твоя зарубцется, а то бы был у тебя антонов огонь.

А я-то знаю, что такое антонов огонь. Попосля, может, мне бы без тыльной части пришлось щеголять.

Проснулся я на другой день под вечер. Долго спал, крепко спал. Мой друг Алфей Медос сидит у меня на койке да улыбается, а нос у него тоже перевязан марлевой повязкой.

— Ну как, Манос, — спрашивает он меня, — орал небось?

— Да нет. А у тебя как, Алфей Медос, зарастает ли твой нос?

— Порядок, — отшучивается Алфей, на меня поглядывает и из-за пазухи вынимает штофчик-сотку, по малюсенькому шкальчику наливает и говорит с прибауткой: — Жил я с тобой по-дружески, любил охоту по-божески, выпиваю за себя и за тебя, чтоб на всю жизнь мы с тобой были кумовья.

КАК МЫ С АНДРЕЕМ ПЫРЕЕМ ВОЛКОВ СКИПИДАРИЛИ

1

Деревня Кивручей — странное название. Вокруг нее, да и дальше, по Лединской дороге, никакого ручья поблизости нет, только в пяти километрах от построек протекает порожистая Андома-река с притоками Ноздрага и Сальма. Кто придумал такое название, никому из старожилков неизвестно. Да, пожалуй, и не интересовался никто этим вопросом. Живут себе в той деревне люди, пахут землю, накашивают сена, держат скотину, а про это никто не думает.

Живет в этой деревне стародревнейший охотник Андрей Пырей. Из его рассказов понятно, что он не знает, когда родился, где крестился. Андрей сызмальства приучен к охоте и имеет к этому немалое пристрастие. Говорят в Кивручье: Андрея Пырея хлебом не корми, дай только в руки берданку, и он будет навеселе. На деревне его не увидишь, голоса его не услышишь. За истребление волков ему даже колхозники премию выдали — годовалого поросенка да возмужалую нетель.

Познакомился с Андреем Пыреем я лет пять тому назад и при очень странных обстоятельствах. Живя в селе Андомский погост, что расположен неподалеку от Онежского озера, я тоже помалу увлекался охотой на волков. Бывало, ходишь день-деньской, ходишь неделю, месяц, а волка все не можешь словить. Стыдно от колхозников, да и ноги устали, плечи мозжит, а как утром выйдешь на волю-волюшку, сердце сразу

заколотится, ноги в путь-дорожку запросятся. Берешь ружьишко — и айда до перелесков, а там шарить и шарить до усталости. Занятно и уж очень азартно.

В полукилометре от моего дома пролегла волчья тропа. С первых снегопадов я вставал до утра на лыжи и уходил к перелескам осматривать ловушки. Каждый раз в одном и том же месте я замечал исхоженную волчью тропу.

В одну ясную январскую ночь вышел в засаду. Лаз устроил в кусту можжевельника. Из лаза все поле хорошо просматривалось, да и перелески были видны. Луна в тот вечер, хотя и ненадолго, показывалась из-за разорванных облаков, но было не особо сумеречно, ночных разбойников увидеть можно. Стога клеверного сена дымились испариной.

К полночи небо очистилось от туч, и показалась луна. Она была полной, белой, медленно плыла по синему небу, маневрируя между звезд. Стало светлее. Электростанция на селе замолкла. В домах угасли огни. Все погрузилось в сон, лишь дед-мороз гулял по перелескам, постукивая палочкой по заиндеветым лесинам. На краю деревни завывали собаки, да так громко, что я весь съезжился, ожидая приближения волков.

Луна в это время остановилась прямо передо мной. Кусты, росшие по межам, ожили, тоже зашевелились.



К гуменникам пробежала лиса, оставляя за собой ровную строчку следиков. Над кустом можжевельника пролетела согнанная лисой стая куропаток.

«Кудь-вы? Кудь-вы?..»

Будто спросили, просвистели крылышками и затихли в ближнем перелеске.

Прямо передо мной на тропе появился волк. Он вышел из редкого ельника. Отошел от опушки леса шагов с десяток, остановился, принялся. Потом в кусточках замелькали и другие тени. Волк, подняв голову, медленно-медленно пошел вперед. До засады, где я был уже наготове, оставалось не больше ста метров. Вдруг я услышал залихватые собачьи голоса, выстрел дублетом и ясный крутой говорок:

— Промазал, чадо небесное... Промазал, будь я проклят... Промазал, старая кочерыжка...

Я вышел из засады, считая, что тут уж больше делать нечего, и сразу же предстал перед стрелявшим.

Он спросил меня:

— Видел?

Я не ответил, а оглядел охотника. Ростом он был невелик, но плотен. Удивило меня то обстоятельство, что он был в одной рубаше, без шапки, — видно, выскочил из избы, не успев одеться. Старик протянул мне руку, отрекомендовался:

— Я тутошный, кивручейский, Андрей Пырей.

Улыбнулся приятно и открыто, а зубы что турнеп белые, плотные и все до одного целехоньки.

После перекура на неудаче мы оба вернулись в деревню. Андрей Пырей пригласил меня в гости. Я с охотой согласился.

Прошлый год кивручейское колхозное стадо не имело потерь, так как Андрей Пырей весь год жил на своем подворье и все леса в округе им были истоптаны, исхожены и волки из них повыгнаны.

— Полный покой и порядок, — сказал Андрей своему колхозному председателю Василию Шибанову, а сам ушел пешим в Андомский погост на гостевание.

В Андоме у Андрея родни что полновожье. В каждом доме ему почет и уважение. В селе у него пять племянников да две внученьки замужние. В Князеве-деревне три двоюродных брательника да правнук Гришка Замарев — страстный рыболов. Но в Князеве Андрей не задерживается. Не любит он правнука за хвастовство по охотничьему делу. Много заливает, а того не понимает, что старым охотникам соврать нельзя — разберутся. Вся вранина наружу выйдет. Стыдобушка одна. Больше всего Андрей гостит у внучки Глаши Кругляковой да Ирины Мариной. Те девки приветные, справные, и мужья у них работающие, домовитые. Пашка — Глашкин муж — работает шофером на колхозной машине, а Мишка — Иринкин муж — освоил колхозную электростанцию — так освещает потемки деревни. Живут сытно, обуты, одеты, и выпить для случая всегда найдется. Однако сами пьют помалу, разве только в особые праздники. Но ко всему этому они Андрея уважают и милым родителем называют. Вот и сегодня Пырей подал мне весточку, что остановился на гостевание у Глаши, внучки.

У меня же в эти дни по всему подворью собачий лай да повизгивание. Крутишка — моя лайка —

с костромичом Пролазом загуляла. Двухнедельную свадьбу стала справлять. Собачья свадьба уже к концу подходила, но узнал про то волк из Крутых ям. Стал похаживать да наблюдение вести. В одну из ночей он выкрал из собачьей свадьбы лайку Грелку, Саши Беланина. Собаку вся деревня жалела. Андрей ко мне пришел, совет подал:

— Ты, этого-того, свою гулянку в хватуру да на цепь, а сам впритирочку к столу в одежонке, чтоб враз и на воле. . . Ружжо, гляди-кась, чтоб не навозом, а картечиной было заряжено. Волку удар надо, а не плеточку. Понял?

— Понял, — ответил я, а Андрей ушел к внучке Глаше, больше не промолвил словечка.

Подошла ночь. Я Крутишку на цепь к кровати привязал. Сам в окно поглядываю. Ночь опять лунная. Кобельки в загородке полеживают, невесту поджидают, боятся пропустить, чтоб Крутишка самоходкой не ушла в Князевские пороги. У нас такое бывает. Загуляет собака в Андоме, а засвадьбится и дом родной забудет, в леса стеганет, за Лединские гари убежит и свадьбу там домыкает.

Я у окошка сижу, всматриваюсь, как кобельки на снегу полеживают, а сам думаю: придет волк или нет? Как только я подумал это, вижу: серый перепрыгнул через забор и прямо на черного кобеля. Собаки вой подняли, сумятица началась. Я ружье в руки и кубарем из квартиры, а как на крыльцо спустился, волка увидел. Матерый волк. Душит собаку и хочет на спину положить, чтоб восвоеси унести. Я ружье в руках держу, а не стреляю. Кричу на волка:

— Чего ты, сукин сын, безобразничаешь?!

А волк знай своим делом занимается. Позади себя чую голос Андрея:

— Ружжо у тебя аль погонялка? Чего не стреляешь?

А я и забыл про ружье. Бегу на волка да руками помахиваю. В это время раздался выстрел. Гляжу вперед. Дым прошел. Нет ни волка, ни черного кобеля, будто все провалилось в мгновение сквозь землю, а Андрей стоит подле меня, смеется:

— Вот тебе сласти, вот тебе и напасти. Волка я мог бы наповал убить, да твоя спина помешала.

А собаки, встревоженные волком, лаяли взახлеб, так что их гомон разбудил колхозников в селе. Те на улицу вышли, поглядели. Глаша к Андрею подходит да ему на ухо кричит:

— Волк-то, дедко, в темной дыре у реки лежит. Волк-то, дедко, подохший!

Старик перекрестился, шубу скинул, за Глашей пошел, а я, опозоренный, на улице остался. Постоял еще недолго, поглядел на ружье и в квартиру ушел. Там Крутишка скулила, на свадьбу просилась. Отпустил. Пусть гуляет, как знает.

3

Через неделю после столь памятного случая Андрей ко мне вечерком пожаловал, записку показал. Записка была от председателя Кивручейского колхоза и гласила примерно так:

«...Засим извещаю, Андрей Пырей, что нонче ночью волк пришел на наше колхозное подворье, разбил раму в передке овчарни и выкрал целое баранье

стадо. Съесть всех не съел, а брюха попотрошил да бойко стадо перепугал. Обходительно просим тебя, Андрей Пырей, будь ласков, сделай новую острастку волкам, выходи снова на свое село. Без тебя и двор сирота...»

— Ну как, разумеешь? — спросил меня Андрей, как только я прочел письмо.

— Надо выходить.

— Вот и я так же думаю. Надо выходить, а когда?

— Сегодня же.

— И то верно, — согласился Андрей. — Лучше скоро, чем с затяжкой.

И после полудни мы вышли в Кивручей, захватив соль, спички, табак и прочую провизию. Собак же оставили при доме. Сейчас они были не нужны. Андрей Пырей обещал мне показать новый способ ловли волков, который ему достался по наследству от прадеда.

В деревне нас встретил председатель колхоза. У полевого перехода встретил. Видно, что ждал. Обнял Андрея, обмял его, заулыбался:

— Все бабы в маету вошли. Страсть как загоревали. Ждут тебя, дорогой охотничек.

С дорожки мы чай не распивали. Сразу в леса отчалили. Андрей Пырей скоро на волчий след встал, меня за собой повел и все примечать велел, а сам норовит идти по ложине. Волчий след свежий, в еловую райку ведет, что ткнулась к безымянному ручью. Андрей ту райку в круг берет. Выхода волка нет. Потом лыжню начинает суживать да меньше круги делать, а потом подходит к поваленной лесине, садится на нее и говорит:

— Вот тебе, этого-того, скипидар, да лыжи свои, этого-того, бойчей наскипидаривай.

— А зачем же их наскипидаривать? — в недоумении спрашиваю я.

Андрей сердито на меня глядит, мычит сквозь зубы:

— Делай, что я те говорю. Последствия покажут. Ишь как рассомневался. Зазря. Мой покоенок прадедушка и дедушка, а также и отец мой таким побытом целые волчьи стаи из обклада не выпускали. Пробовал я обкладывать красными флажками, да где там... Это дело оправдано, испытано. Я ж тебе говорю. Посильней скипидарь, чтоб скипидарный запашок на снегу остался. Через тот запах волку ни за что не переступить. Тереться у лыжни будет, а лыжню не перейдет. Вот те хрест и мое верное слово. Валяй, паренек, делай, что те говорю.

Сам Андрей свои лыжи снял и почал их скипидаром тереть. Драл он долго, не жалея ни сил, ни мази. Вонь кругом пошла. После того, как натир лыжам был проведен, Андрей меня рукой к себе поманил:

— Ты, паренек, как я лыжней окружу волка, ступай по лесу вон до тех кусточков, — он рукой показал мне небольшой пригорочек, где, как островерхие опенки, росли маленькие елочки с помесью березника. — Оттуда пойдешь прямо на меня, через всю еловую райку, и кричи так шибко, чтоб от твоего крика земля дрожала, а я на номер встану, вот к тому деревцу при-тулюсь.

Выслушав Андрея, я уже не стал сомневаться, а сделал, как он велел. Зашел к лесу и там закричал, застучал палкой о стволы деревьев и пошел прямо в

густую еловую райку. Долго я ходил по полесью взад и вперед. Долго орал, вконец измучился и охрип. И уже перестал верить в затею Андрея, как в это время услышал выстрел и Андреево гочканье:

— Н-но, милай! Подь сюда!

И я тогда подошел к Андрею и увидел у его ног матерого волка. Андрей как ни в чем не бывало спросил меня:

— На себе уволокем аль за конем в деревню пойдём?

Я поглядел на волка, потрогал его за ноги, поволочил по снегу и негромко заявил Андрею:

— Донесу на своих плечах, — взвалил волка на спину, как куль муки, понес. Следом за мной пошел и Андрей.

На деревне нас ожидали. Ребятишки навстречу выбежали. Каждому ребяшу хотелось волка не только поглядеть, но и пощупать, а бабы так Андрея целовать да в гости приглашать стали. Я рассказал председателю колхоза, как Андрей повалил волка; тот заулыбался, Андрея в кладовую повел, там ему бараний задок отрубил, а подавая, сказал:

— Попотчуйся, наш колхозный охотник. От всего села тебе новую премию схлопочем.

Андрей был рад такому почету, а я того больше.

ПЕРВЫЙ УРОК

С семилетнего возраста мой дедушка, Василий Семенович Голубушкин, пристрастил меня к охоте, да так, что и сам был не рад этому. Бывало, чуть дед уйдет к куму покурить, а меня уж след простыл. Ружье наше, тулочка, сломочка, что деду подарили соломбальские лесопильщики, завсегда висело у гобца на перемышках. Чтобы достать его, требовался высокий стул, а я уловчался его кочергой доставать. Зацеплю сначала ствол, осторожно опущу его до плеча, подержу рукой, а там и ложа сама спустится. Дед не раз оговаривал меня:

— Не долго до беды. Уйдет, хлесь из ружья, и глаз вон. . .

Потом стал прятать его за гобец, а я все равно его находил, уходил за околицу и ребятам в фуражки стрелял. Говорил: «Чья фуражка будет последней, того вся дробь». Ребята страсть шумели, каждому хотелось быть с дробью, а как пальну из ружья, то последняя фуражка вся в дырках, одно горе горькое да березовая каша от матерей.

— Вот что, внучек, — однажды сказал дедушка. — Буде тебе понапрасну стрелять, в пустое поле блажь посылать, пора к охоте приучаться. Гляди не проспи. Утром, чуть свет, пойдем в Куликово поле, покажу, как косачей снимать с березок да в пестерь ложить. Понял?

— Конечно, понял. Как тут не понять. — Обрадованный, я бросился к матери. — Новые рукавицы, чтоб теплее, новые порты, чтобы веселее.

Мать улыбнулась, перекрестила:

— Никак с ума свихнулся?

— Нет, мама, пока в здравии, того и тебе желаю, — ответил я ей, а сам вприпрыжку по двору разошелся, колесом прокатился, всю заднюю в коровьем помете вымазал.

— Дурак, — сказала мне тогда матушка, — нашел чему радоваться. Коровьему дерьму... Дурак.

А я долго после маминых оплеух не мог в себя прийти. Маме строго наказал:

— Чуть свет разбуди меня.

Было еще темно, когда мы с дедушкой прямо через банные тропы к гуменикам вышли. Дедушка шел впереди с пестериком за плечами, а я нес настоящее ружье на правом плече и без умолку тараторил:

— Ать, два, три, четыре, пять, вышел заяц погулять... — И тут же шлепнулся в колдобоину, разбил ружьем себе лоб. Кровь течет, я лежу, дед надо мной хлопочет.

— Ох, и ветрян же ты, малыш, много шалишь... — кричал он на меня и все время улыбался, — землю, поганец, ногами человек щупает, а не головой.

Минуя большое овсяное поле, березовую райку, овражек, что присосался к Куликову полю, мы вышли к уреме, которая возвышалась над полянками, сплошь утыканными мелким березником да ольшаником. Начинался рассвет. Лес быстро выходил из сумрака. Желтый лист при ветерке срывался и опускался на влажную землю.

— Вот тут и посидим, — сказал дедушка, когда мы подошли к уютной березовой райке величиной с пятачок. В райке была построена удобная шалашка. Дед

на высокие березки посадил чучелки косача и тетерки. Усаживаясь в шалашке на мягкое пахучее сено, дед просил меня соблюдать полную осторожность при движении, не кашлять, не смеяться, громко не дышать.

— Птица настороженная, все подслушивает. Слух у нее, внучек, острый, нюх чуткий, тонкий, обонятельный.

В шалашке было теплей, чем в поле. Густая райка защищала нас от ветра. В просвете между веток проглядывались чучелки. Прижавшись плотней к деду, я сидел так тихо, что порой слышал биение не только своего, но и дедушкина сердца. Дед сидел полудремотный, развалившись на сене, что в розвальнях. Его взгляд, обращенный за изгородь, в поля, был сосредоточен и серьезен. Для успокоения он покусывал прядь бородки.

— Кха-кхэ-э... ха-р...кэх...ха-ха-ррр!

И если бы я в это время был один в лесочке, то такой крик, по всей вероятности, вспугнул бы меня, встревожил. Дедушка, выдавший виды в лесу, и тот, услышав такой крик, вздрогнул, прошептал:

— Чуешь, внук, как куропад закхэкал? Рассвет будет ладный.

Где-то совсем рядом с нами раздалось: «Чу-ю фьш!»

— Я тоже чую.

Такой крик повторился еще несколько раз, а потом кто-то как будто спросил: «Кто-вы? Кто-вы?»

Лес окончательно просыпался от ночной тишины.

Я поглядел на тропинку, по которой мы с дедом шли к шалашу, и замер. Передо мной стоял зверек

с узкой продолговатой мордочкой, и казалось, тот зверек меня спрашивал:

«Зачем пришел в лес, голубчик? Зачем сел не в свои хоромы?»

Хвост у зверька был пушистый и по земле волочился, как банный веник. Шерсть на зверьке была рыжая-прерыжая, точно солнцем подпаленная. Я моргнул деду:

— Видишь?

— Угу, — отмигнулся дед. — Вижу.

— Штреляй, а то убежит.

— Не буду.

В это время над нашими головами что-то прошумело, и березка закачалась, посыпались листья. Я посмотрел вверх и увидел, как наши чучелки треплет матерый ястреб. Поняв свою ошибку, ястреб кыркнул, что стукнул в жестянку, улетел.

В это время убежал и зверек.

Прилета не было долго. Наступил полный рассвет. Росяные капли падали с березок. Мы терпеливо ожидали прилета. У меня порядком озябли ноги, хотелось кашлять, но я отгонял кашель, жуя хлебную корочку. Дед пожимал плечами, стал ворочаться. Зашуршало сено, закачались березки. Вдруг позади себя я услышал шум крыльев. Дед взял в руки ружье, я поднял глаза на березки, поглядел. Раздался выстрел. Косач так и не успел сорвать березовую почку: шумно цепляясь крыльями за ветки, упал у шалашки.

— Взять? — спросил я деда.

— Нет, — ответил дед и добавил: — Подберем, когда отстреляемся. По два раза из шалашки не выходят.

И опять за моей спиной раздался взмах крыльев, но уже не одиночный, а стайный, режущий, с присвистом. Стая тетеревов подсела к чучелкам. Березки зачернели. Дедушка выстрелил. Два черныша и тетерка упали к шалашу.

И снова тишина.

Мы сидели, ждали прилета еще часа полтора, но больше его не было. Погода круто изменилась. Небо заволокло серой тучей. Пошел накрап дождя.

— Пойдем, внук. На сегодня наш разгон кончился, — сказал дед и вышел из шалашки. — А теперь можешь подобрать наши трофеи.

— А что такое трофеи? — спросил я деда, перевязывая косачей и прилаживая к ним тетерку.

Дед пожал плечами, но ответил:

— Попосля спроси у Суворова Александра Васильевича.

— Скажет?

— Обязательно.

Я знал, что дедушка страсть как любит полководца Суворова. Я часто слышал от него, когда он рассказывал о переходе через Чертов мост, и думал: а может быть, дедушка служил с ним в одном полку? Спросил:

— А ты, дедушка, Суворова видал?

— При моей службе в армии его уже не было, в отставке был, а правильной — в земле опочивал. Замолчим, внук, об этом.

И мы оба замолчали. По дороге домой за Сереговой полянкой дед как бы про себя заговорил:

— А зверек каков? А? Хорош, дьявол! А?

— Да, — ответил я, тоже не глядя в сторону деда. — Хорош, дьявол.

— Не дьявол, а лиса, — поправил меня дедушка.

Только тут я впервые узнал, что у шалашки была лиса. Спросил дедушку:

— Почему не стрелял?

— Нельзя, у нее сейчас идет перешерстка. Рыжая — еще не пушнина, а вот как переоденется, то сразу посеребрится.

Что такое перешерстка и как так лиса может посеребриться, я еще в то время не знал, а спрашивать у деда постеснялся.

НА МЫШКОВАНЬЕ

На мартовский наст выпал мягкий, неглубокий, сухой снежок. Своей порошей он покрыл все тайные причуды лесных обитателей. На пожнях, в распадах речек и ручейков, в лощинах, да и во всей уреме нет ни одного звериного следика. Все куда-то потерялось, будто корова языком слизнула. Куда ни глянешь, везде белым-бело, что скатертью прикрыто.

Утром, после такой пороши, я вышел на полянку, что вплотную упирается в село Андомский погост. День выдался на редкость ясный да теплый. Ни ветра, ни шороха. Обошел первую полянку и ни в обочине оврагов, поросших ольшаником да жимолостью, ни в крутоярах заимки не нашел ни единого следика.

Я расковырял возле ивняка снег и понял, что земля начала перепариваться, задышала, стала оживать.

Проскочив мелкий перелесок, я вышел к сосновому бору. Борок был невелик. Невысокие сосенки выросли в этом месте так густо, что трудно было человеку пройти сквозь эту чащу. Бор назывался «Собачьи пролазы» — такое название дали ему андомские охотники. И действительно, бор был собачий, непролазный, но для охотника дорог. Непролазы были домом для лесных зверьков. Здесь в густой заросли находили себе пристанище зайцы, куропатки, рябчики, лисы, волки, и даже частенько в этих местах можно было увидеть рысь.

Обойдя бор слева, я обнаружил ровную строчку следов, точно по линейке написанную лисой на снегу.

Следы были ровные, неглубокие и лапа в лапу. Прямая строчка следов говорила о том, что лиса шла спокойно, без остановок. Я пошел по следу.

Пересек полянку, ольшаник, вышел к перелеску из мелких елочек и березника. Здесь лиса останавливалась. Видно, что она мордочкой порыла снег, лапками позасыпала и, никого под снегом не обнаружив, повернула вправо и снова повела ровную строчку. На большом поле у стогов овсяной соломы она задержалась надолго. Видны были ее старания. Солома нижних пластов была оголена от снега и разрыта. Но и тут она пищи для себя не нашла. Свернула в большое Трошигинское поле и там принялась за настоящую работу. В поисках мышей лисица почти каждый метр вокруг стогов изрыла. Из одной лунки достаю еще совсем теплый, мягкий-мягкий комок волокна. Внутри, как я понял, было еще не так давно гнездо полевок. Значит, здесь лисица завтракала. На снегу в двух местах у лунок была кровь. Где ж проказница будет обедать?

Можно далеко уйти по следу лисицы. В поисках пищи она пробегает десятки километров за зореванье, полсотни за день. Выроет сотни лунок разной величины. Полюбуйтесь ее работой. У каждой лунки вы увидите стебельки трав и даже цветики, бережно ею сохраненные для мышиноного питания.

Оставив позади Трошигинское поле, я вышел в Князевские березники и на полянке сразу же увидел матерую лисицу. Остановился. Осмотрел поле. Потом мелкими перебежками стал приближаться к ней. Что-

бы выйти к лисице на ближний перешеек, я должен был зайти к стогу прошлогоднего сена. Из-за укрытия легче наблюдать за зверем.

Мышковала лиса не спеша, спокойно. Ткнет мордочку в снег, потом выроет лунку, понюхает, прислушается и через мгновение поднимается на задние ноги, при этом ее пушистый хвост по снегу метет, куржавеет, потом молниеносно кидает передние ноги в лунку и сразу же садится на хвост, а передние лапы к морде подносит и в рот добычу кладет. Ест она тоже не торопясь, с чувством, с растяжкой на смакованье и с большим наслаждением. Махнет несколько раз после еды хвостом и снова пускается в поиски полевок. Все поле избегает, исстрочит, что швея, и лучшему следопыту трудно разобраться, где у нее заход на полянку, а где выход — все стежки-дорожки, крючки да закорючки с петлями.

Два раза лисица подбегала с мышкованьем ко мне на расстояние ружейного выстрела. В первый раз я опоздал курки взвести, как она исчезла, а во второй скобу потерял. Не обижаясь на это, я опять сидел за стогом и ждал приближения лисицы. Но она не торопилась. Мышкованье проводила в дальнем углу поля. Так я ждал ее час или два, а она все еще кувыркалась да обряжалась в углу полянки и на меня чихала с высоты ястребиного полета.

Пошел легкий снегопад. Сидеть за стогом стало холодно, и меня уже стал принимать озноб.

«Пойду в деревню», — подумал я и только хотел подняться, как увидел лисицу. Вспугнутая кем-то, она врасстяжку бежала прямо на меня. Когда ее бег поравнялся со стогом сена, я выстрелил. Лисица, как

бежала размашисто, так и разметалась на земле в рыхлом снегу. Но через секунду подняла голову и попробовала подняться. Вторичный выстрел прижал ее голову к снегу.

С полем возвращаюсь домой. Навстречу попадают школьники. Они внимательно и с большим любопытством рассматривают лисицу, чмокают языками, приговаривают:

— Заладно, дедушка. Теперь тетя Дуня порадуетя: она говорит, что лисица — мастерица у нее с повети кур воровать!

Вечером на заре мы с Сергеем Ивановичем Цветковым, заядлым няндомским охотником, шли по негустому сосновому бору, что на берегу Няндомы-речки притулился, точно красавчик, помахивает кронами, что голубой шапочкой, а ясному дню отдает свои красные стволы: залюбуешься, засмотришься и глаз отвести не сможешь, вот до чего все заморожено, любодорого. Усталости у нас не было, хотя мы в тот вечер прошли порядочное расстояние. До вальдшнепиной тяги оставалось не более километра. Дорога пошла сухая, ровная, густо посыпанная иголками сосенок.

Птичий гомон на зорьке усилился. Рядом с нами все время позванивала зырянка. Влево, на Окуневском болоте, кричали журавли, справа чуфыкали косачи-черныши. Все живое вышло на весеннее раздольное гульбище. Пляши, сколько хочешь, пой, как хочешь, гуляй, наслаждайся в полную душу — запрету никому нет.

Скоро мы пришли к месту тяги. Справа стоял впритычку к речке густой сосняк. С высоченных сопок скатывался мелкий ельник, березник с осинником. Прямо перед нами бушевала в порогах гулкая Няндомы-река. Пожня, на которой мы остановились, была гладкая, длинная, напоминающая утиное яйцо.

— Вставай здесь и жди, — сказал Сергей Иванович, невзначай моргнув правым глазом, указал мне место у опушки леса под шарапистой березкой, которая только еще начала разлуплять свои почки. — При

стрельбе не торопись. Завсегда помешкай, прикинь, что и как, а потом уж...

И ушел в другой конец пожни. Там Сергей Иванович остановился под кроной высокой сосны.

Вечерняя заря угасла. Вот далеко-далеко, еле заметно, выпорхнула сначала одна звездочка, потом другая, и небо засветилось мельчайшими огоньками рассыпанных, точно из лукошка, звезд. Птичий гомон постепенно стих.

Я стоял и ждал прилета. В ожидании посмотрел на пожню и увидел шагах в десяти от себя зайца-серяка. Он быстро-быстро шевелил ушами и при этом занятии что-то лопотал, точно бляял барашком. Вскоре на это лопотание прибежал еще зайчишка, и друзья так принялись резвиться на лугу, что от них даже парок пошел. В это время с высоты, из-за речки прямо на зверьков стремительно обрушился ястреб-зайчатник, но промахнулся. Зайцы скрылись в густом можжевельнике, а ястреб снова взмыл над вершинами леса. Потом снова метнулся в мою сторону молнией и, очевидно заметив меня, сделал крутой разворот и, выйдя из него, плавно поплыл над речными изгибами.

Утихли лесные шорохи, и наступила тишина. Но вот скоро в эту тишину легко и спокойно вошло: «Цвист»... А потом весь перелесок ожил, заговорил: «Квор-р... квор-р...квор...цвист». Я вскинул ружье. Прямо на меня, с южного конца пожни, невысоко над берегом и опушкой, плавно шевеля крылышками, наплавал вальдшнеп. Я выстрелил. Птица перевернулась в воздухе, но снова выправилась и спокойно повернула обратно, возобновив хорканье. Раздался дру-

гой выстрел. Вальдшнеп сложил крылья. Это Сергей Иванович положил начало охоте.

Я хотя и промазал, но остался вполне спокоен, ожидая нового прилета. Не прошло и пяти минут, как я вновь услышал, уже в противоположной стороне из-за речного поворота: «Квор-р...» Вальдшнеп тянул свою песню очень медленно. Поравнявшись со мной, он сделал некрутой разворот в сторону опушки. Я выстрелил. На этот раз красный лесной кулик упал к моим ногам.

Стемнело, а вальдшнепы продолжали тянуть. Ночь шла тихая, сухая, прохладная. До чего же приятно отдохнуть на чистом воздухе, досыта напоенном весенней влагой — корнем жизни. Уходить из леса не хотелось.

Мне в ту пору надо было бы по заполью бегать да черным кошкам хвосты солью посыпать, а я уже к охоте пристрастился так, что не дай боже обсохнуть коже — всегда и всюду хотелось быть на переднем краю. Ночи спать не мог, все думал, как бы мне дедка своего, Василия Семеновича, обмануть да у него ружьишко слямзить и с ним по лесочку походить, да все случая такого не было, а меня донимало, подмывало, что вода у запрудницы. Но вот оно, долгожданное, припело, поспело, и мой почтенный старик, улыбаясь, скороговорочкой молвил:

— В Запербовские овсяные полянки медведь навострился. Всю серединку статного овса примял, прижевал, грудь своей исчерноземил, а помет хочь в короба складывай — много... Надо бы, внук, попробовать. Надо бы... а?

— Ладно уж, дедко, попробую, — потягиваясь от удовольствия, с достоинством взрослого отвечал я дедушке и самочинно пошел к ружьишку, которое висело на переметине у сеновала. С любопытством снял ружьишко, принес и подал дедку, а он:

— Ты, ужотко, внук, сам, сам с усам. Зарядку делай по нашим, никем не писанным правилам.

А правила у старых охотников были настоящие — береги порошок, как пастушок, раз разрядишь, другой прирядишь, а третий в острроверхую точку попадешь.

У дедушки для зарядки ружья были сделаны само-

дельные приборчики — побирушечки. Наперсток для пороха, полурог для дробы, а пыжи тряпичные — бумагу дед жалел. Но долго мы в этот раз искали наперсток. В пороховнице его не оказалось, в кожаном мешочке тоже не было. Дедко все штанины облазил, весь пол в избушке обшарил, а найти так и не смог. Осерчал старик и давай на меня кричать:

— Заряжай, внук, наугад, по-тульски. Те мало, когда ошибаются. Левша мерок не любил, а аглицкой блохе подковы мог сделать — залюбованьице!

По-тульски заряжать я уже знал, да, бывало, попошехонски и стрельнуть приходилось. Помню, на реке было дело, в Троицын день. Мой одногодок Гришка стырил у отца полмерки пороха, завернул его в полую кочергу да тряпицами проход затыкал и говорит мне:

— Поджигай припалом.

Нет, думаю, шалишь, милый, ты уж сам дырку заткнул, сам и прижиг делай. Ну конечно, он и сделал. Бабахнуло, аж гром пошел, кочерга перевернулась, раздалась, вверх полетела, а Гришка ожегся. Правый глаз вытек, так что ему опосля в городе новое стеклышко вставили, а другой так с пригаром и остался. Видит, не обижается. Свою жену от других отличить может: говорит, больше ему и не надо.

После того, как на пожне началось смерканье и стала подкрадываться сумрачность, меня дедко на кобылу посадил, а сам на коня прыгнул и командует:

— Шагом аллюр два креста.

— А что это такое? — спрашиваю я деда.

Он головой почал мотать да смеяться:

— А черт их знает, что такое...

Проехали речку Пербово. Гряда леса началась, а тут и наши овсяные полянки. Дед едет впереди, а я следом за ним, посвистываю. Дед прикрикнул:

— Перестань свистеть!

А как я перестал свистеть, то сразу невесело стало. Дедко опять на меня кричит:

— Вставай на челку лошади и подтягивайся за еловый сук, а тут и лабаз. Я его еще в полдник для тебя слабазил. Добрый лаз.

Встать-то я встал, а вот челки у лошади найти никак не могу. Дедко снова кричит:

— Балбес синевроый, глянь вправо, вишь, щетина растет... Напружинься да маятником ноги забрасывай. Суком подпор делай, а выгиб головой.

— Ну, — замечаю я дедку, — наговорил, что языком на песке набродил, а что к чему — никак не пойму.

— Бесталанная ты, вот и не понимаешь, — кричит дедко и рукой на челку лошади показывает да на сук глаза весит. — Догадывайся.

Я догадался. Руками цепко взялся за сук, ноги вперед, а голову назад и перевалил свою тыльную часть поверх сука, а тут и лаз. Когда уселся по приятности, сказал дедку:

— Поезжай, деда.

И дедушка уехал в старую мельничную избушку, что ласточкой приткнулась на высоком уступе Берендяевской горушки на Плашном. По сторонам лес, впереди речка бежит, вода журчит, песок сыпается, а как ветер почнет елочки чесать, то горушка вся рыхлится, что водушка стекает в речку.

Не успела исчезнуть заря, как в правом углу полянки затрещала изгородь, и следом за этим треском из мелкого ольшаника высыпала медвежатная кадиль — сама медведица хоровод возглавляет, трое детишек вокруг нее взаходясь играют, а пестун, разинув пасть, что-то рывкает, видно командует да ветками по сторонам кидается. Чудная картиночка. Умную игру ребятишки затеяли. Носятся с визгом да посвистом вокруг матки, а той и приятно и смешно. Ноздрями водит, будто воздух щупает: вкусен ли, тверд ли он и не пахнет ли живым душком. Пестун размяк, лег в борозду, роздых делает, а сам незаметно без мамки овес шамает — вкусно, видно, аж сопенье слышно. Я сижу на лабазу, и приятно мне доглядывать такую картинность.

Но вот время игры кончилось. Медведица пощипала медвежат, те к пестуну побежали, а сама легла на живот и давай на меня ползти, ближе и ближе норовит ко мне, а у меня ноги в лихорадку пустились, чечетку отбивают, сижу бодрюсь и острастку себе ущипами делаю. Но медведица рывкнула: может, на меня, а может, и на кого постороннего, я тут не удержался, прицелился и — хлесь! Что-то треснуло, что-то ухнуло и чем-то меня ударило в правое плечо, да так сильно, что я вытряхнулся с лабаза да прямо под коренья валежника полетел. Чувствовал, как валился, а потом на что-то наткнулся и все забыл — память куда-то вышла, не приметил.

Открыл глаза и сам удивился. Залез на лабаз, когда вечерять начиналось, а сейчас уже солнце высоко и такая стоит испарина, что мне и жарко и парко. Поряду со мной дедко мой Василий Семенович сидит

да каким-то снадобьем мне голову натирает, а как увидел, что я глазами моргаю, закричал:

— Мать честная, да никак парень-то ожил! Вот бы, ешь те мошкара, муха зеленая с комарами.

Бабка вокруг меня семенила, мне в руки толкала краюшку черного хлеба, в другую руку крынку парного молока.

— Испей, желанный, все болячки молоко коровье снимает, а краюшка хлеба богоданного горлышко расширяет.

— А где ж медведь-то? — спрашиваю я между прочим у дедушки Василия Семеновича, а он мнетя, заливаётся, улыбается да подмиг мне делает:

— В лесочке, внучек, гуляет, тебя дожидает...

И тогда я встаю на ноги и — отродясь никогда не крестился, а тут перекрест себе сделал, сказал:

— И дождется...

Дед на меня опять же цыкнул:

— Дай только подрасти, а я уж ей потом...

А чего потом, я тогда так у дедушки и не понял.

Но ровно через год первую охотничью ошибку я все же исправил.

Дело было так. В летние жаркие дни мы пасли лошадей в загонях Явенгских дач, что примыкают к Турабовским дачам. В тех загонях трава была съедобная, калористая, для лошадей приятная, с разными пряностями. В лесу было много нетореных дорог, были ухабистые места с кучами валежника, да попадались кое-где и овраги с овражками, сплошь заросшие жимолостью да хворостинником. Но для крестьянских лошадей в оводяную пору было здесь поле — гулянье. Овод не прожужжит, можжевельник не про-

пустит, комар поплачет, да и тот счахнет. Густой лес — надежное укрытие для лошадиных роздыхов. Днем лошади паслись у безымянного ручья, что кольцом опоясал крутую серебряную сопку в Турабовщине, а по вечерам мы лошадей сзывали в становье. Становье было густоельничковое, огороженное высокой изгородью, так что для мишек и машек был полнейший непролаз.

В один полуденный час в канун Ильина дня, у речки, около ее распада, медведь задрал рыжего коня Ивана Хмурого. Мужик жил справно, потому и конь у него был самый справный во всей нашей волости. Породный конь. Копытистый, весь в яблоках, а когда бежал на рысях, то его бока все время выговаривали: буля-буль... буля-буль, а из-под копыт земля дымит, песок сыплется, ноги колесиком крутятся, добро, красиво. На происшествие первый наткнулся дед Прохор Петрович Сизмин, низкорослый, щуплый и первейший охотник, он знал все входы и выходы Тудозерщины. Но и бывалый охотник, а все же, когда столкнулся лицом к лицу с мертвой хваткой, испугался, остолбенел, а когда в себя опамятовался, то на колени встал, господа бога вспомнил и что одержимый побежал прочь с поля битвы да до стана явился, плачет.

— Сумятица страшная у речки случилась. Рыжий медведь убил насмерть жеребца в яблоках.

Мы в это самое время с дедом Василием Семеновичем случились в деревне — работали у братьев Смекалиных. Услышав от Прохора невесть чего, остановили приемку, переглянулись друг с другом, перемолвились словцами не особой важности, а все ж Про-

хору поверили и не преминули сразу же пойти на линию происшествия. Придя на место преступления, мы обнаружили следующее: конь не поймешь какой масти, так как был весь вывожен в грязи, лежал покойно на берегу ручья. Живот у коня был распорот и как-то не в порядке изнутри его путались кишки вокруг тела, вокруг его ног, около пня. У ручья стояла с наклоном толстая ель. Мы, обследовав ее, установили, что задними ногами мишка на этой ели сделал самоличную роспись в приемке коня и так далее. Роспись была глубокой бороздой и всей мишкиной пятерней. Мой дедушка, как только осмотрел местность, мне правым глазом подмигнул сделал, промолвил:

— Следует тут полабазить, как, внучек, думаешь?

И опять же у меня нахлынуло чувство радости, и я снова расхвастался:

— Теперь, дедко, я его достану.

— Ну, ну, — тогда ухмыльнулся старик. — Доставай, доставай. А как же ты будешь доставать?

И тогда я нарисовал деду свою еще не написанную картину, но уже обдуманную. Я решил на этот раз лаз устроить не на елке, а прямо в топи у речки. Топь не допустит медведя к моему укрытию, а если у него и хватит для прыжка смелости, то топь его засосет с потрохами. Мой план дед одобрил. После ужина я полукольцом обошел засаду и подошел к ней с подветренной стороны, уселся удобно и надежно.

Солнце все еще стояло над лесом, и была неимоверная жара. Ветра не было. Пахло сосной да осокой. Пичужки скрывались в зарослях леса и молчаливо

пережидали зной. Но вот солнце упряталось за лес, погасив за собой яркий свет. На болоте проснулись журавли, заговорили: «Куд-ря-во». Вспорхнула сойка и залилась посвистом. Несметное полчище мошкары кружилось вокруг меня. Они явно выживали меня из засады, лезли в нос, уши, глаза, попадали в рот. Я сидел, отбивался от мошкары и с трепетным волнением ожидал приход зверя.

Время было уже за полночь, а медведь все не приходил. У меня от укусов мошкары вспухло лицо, и я патер его полынькой, но от этого оно еще пуще запылало, загорело, защемило. Пришлось закутать лицо в платок, так что незакрытыми остались одни глаза. В лесу все слилось в непроглядную темень, и только я видел прямо перед собой большую тушу коня. Прислушивался, настораживался.

Под утро захотелось спать. Глаза закрывались, и, несмотря на мое усилие открыть их, они снова слипались, и с тошнотой к горлу подступала дремота. Силась одолеть навязчивый сон, я стал считать до ста и обратно, но и это не помогло. Но вот деревья стали проглядываться, дремота невесть куда исчезла, и я услышал почти рядом с лазом сильное сопение и грызню. Оглядел внимательно, откуда шли эти звуки, и сразу же заметил огромную голову, прицелился и нажал спусковую скобу. Выстрел на заре раскатисто загрохотал в густом лесу, а вскоре на его грохот прибежал мой дедушка:

— О-го-го! Парень-то как разохотился!

Я в это время вышел из лаза и, сняв с лица белую повязку, вытер ею вспотевший загривок, лицо, и, улыбаясь деду, выговорил:

— Ждать надоедко было, а как пришел, то враз и одним выстрелом достал зверя.

— О-го-го! — загокал старый и почал искать дырку, куда угодила пулька, посланная мною из берданки, из той берданки, которая еще в прошлом году меня столкнула с лаза на Запербовской овсяной полянке. На этот раз она мне сделала премилое одолжение — не осмеяла перед стариками.

СЛУЧАЙ В ЮГОЗЕРСКОМ ЛЕСУ

До позднего вечера я дожидался старого охотника Сергея Панфиловича Умрихина в его лесной избушке. Он явился с охоты с наступлением темноты усталый, но веселый, с лукавым прищуром глаз. За ним вбежали две лохматые собачонки. Сергей им приказал:

— Коротышка, под лавку, Нерпа, за гобец.

Собаки послушались его, быстро юркнули на свои места и улеглись на подстилку. Сергей Панфилович снял с себя немудреное охотничье снаряжение, подал мне руку:

— Сват-брат, вовремя явился. Лес пушнинным запашком пополнился.

Во время чаепития в избушку зашел его дружок, Степан Козлов. Одет Козлов был в накидку из овчин, на ногах пимы, на руках рукавицы из овечьей шерсти. До войны Степан был силен и задорист на охоте, да норовист к людям. С полей сражения из-под Сталинграда пришел, исполосованный немецкими фаустными осколками. Но крепок и сейчас Степан. Охотничья у него закалка. На ногах стойко держится. Огрубел в лесу, лицо заскорузлое — морозом схвачено, глаза с черной изюминкой, кажется, что улыбаются.

Зашел, ружье снял, на дерюгу куницу положил, зайца из рюкзака вынул, стал шкуру снимать:

— Сейчас мы ужин из тебя, друг ситный, сготовим, — не то к зайцу, не то к нам обращаясь, заговорил Степан. — Погода нынче поземистая, валунов много, собаке работать трудно.

Рядом с ним собака взвизгнула, будто щип пролила.
— Ась, Рыдай, в куток.

Рыдай скрылся. Степан к нам обратился:

— Как на завтра будем планы строить? А, Сергей Панфилович?

Старик в затылке поковырялся, носом шмыгнул, бойко чихнул, промолвил:

— Пойдем вместе до Варваркиных ключей, а там разойдемся по уремам. Сходиться, сват-брат, будем в паужну у малого Бабкиного овражка. Там под елкой походный шалаш устроен — сам рубил.

Но утром, выйдя на волю из избушки, старик передумал:

— Плохая приметина. Флейтового насвиста нет, малиновый щур не поет. Дятел дробит глухо. Метель будет. Так что ты, Степка, пойдешь к Гавдинским суземам, а мы, — Сергей Панфилович указал на меня, — пойдем, сват-брат, к Сотниковским ямам.

Так утром мы разминулись со Степаном в ближней лесной уреме. Я видел, как, отойдя от нас шагов двадцать, Степан повернулся, рукой помахал, улыбочку сделал и тут же скатился на лыжах в распад ручья.

Первое время и мы с Сергеем Панфиловичем шли молча. Шли по густому лесу, через овраги и кручи. Пересекли небольшое болото, а когда вклинились в крутые сопки, где росли высоченные ели да краснотельные сосны, старик остановился:

— Глянь, сват-брат, какой зверюга протопал... Ого... многоважный.

Я внимательно осмотрел стезжку следов и не понял, чьи это следы. Старик, видя мое замешательство, пояснил:

— Коль увидишь след блинами да в ходу растяжка — знай, это прошла матерая рысь-самец. Он, сват-брат, немного по земле ходит, норовит по лесинам выпрыгивать. Заберется в кроны, сидит, прислушивается, вынюхивается, а потом и пойдет, коль жертву заметит. Ему, сват-брат, жранья одного надо уйму. Ежедневно подай зайца, а то и пару слопаёт.

По этому следу мы не пошли, а свернули влево. Потом перелезли через два небольших увала, прошли около километра густым чапыжником и спустились на дно оврага. Тут Умрихин отдал сворки, и собаки мигом исчезли из наших глаз, а вскоре недалеко раздался их пронзительный вой.

— Это Коротышка завывала, — сказал Умрихин, разглядывая вершинки леса, — но я ей не верю — обманом занимается. Повременим, сват-брат. У Нерпы голос верный. Как заговорит она, идешь смело и будет без промаха.

И действительно, когда бойким, с трескоточком голосом загомонила Нерпа, старик ожил, глаза заблестели, стал круче поворачиваться, улыбочка на лице появилась. Сергей Панфилович, ловко лавируя между лесин, стал спускаться с сопки в ложину. Когда мы приблизились к собачьему лаю, Умрихин мне рукой подал знак, чтоб я остановился, а сам пошел в обход. Я стоял, видел собак, слышал, как Нерпа зубами грызла мерзлую кору у ели и с рывками скулила и звонко лаяла. На кого она лаяла, я так и не увидел, а, как услышал выстрел, пошел к Умрихину. Сергей Панфилович гладил в руках кунью шерстку.

Собачий лай после выстрела прекратился, и уже снова слышали его часа через два. Мы пересекли не-

большое озерко, вышли на второй берег. Старик круто повернулся, поманил меня рукой.

— Погляди-ка, сват-брат, как она, прорва, красиво идет.

Тут я увидел, как стройно и круто от собачьего гона удирала рысь. Шея у нее была белая, точно выпачкана снегом, на щеке отвисал черной космой бак, хвост, что обрубок, вытянут. У рыси была широкая, прямая пятнистая спина, ровные поджарые бока, а ноги были сплошь усеяны рыже-бурыми яблоками. Красива, на бегу стройна.

Более двух часов собаки гоняли рысь. Сначала она шла по низовьям, а как почувствовала настиг собак, взметнулась в кроны и притаилась. Но собаки и тут ее достали. Она, усталая, бойко зашагала по лесинам, все время поуркивая по-кошачьи сердито. От рысиного бега с лесин падал снег, летели шишки, сучья.

— Довольно! — сказал и выругался Сергей Панфилович. — Так каналья будет водить не одни сутки и все зря — не убьешь. Надо, сват-брат, к ночлегу выходить. Лес-то, сват-брат, зашумел — домой посылает.

Умрихин вынул из левого ствола патрон, приложил ствол к губам, понатужился. Раздался громкий звук, что поет рожок. На него прибежали собаки. Мы еще постояли с минуту и направились к условленному месту встречи со Степаном. Когда мы подошли туда, Козлова не было.

Ветер усиливался. Сначала мелко покачивались, позванивая иглой, елки и сосны, а потом бойко зашумели, что застонали. Начинаясь поземка. В густом лесу она улавливалась только в прогалинах да на просеке. Среди кондового леса она пряталась. О себе

давала знать только перезвоном снега, когда с лесин головные уборы зимы валились.

— Что, сват-брат, — обратился ко мне Умрихин, — Степан-то, может, уж к избушке подходит. Пойдем-ка и мы на ночлег.

Когда мы пришли в лесную избушку, Козлова и тут не было. Мы развели в каменке огонь, подвесили на таганцы два котелка с ключевой водой и в ожидании чаепития улеглись на нары. Собаки уже спали. Усталость все же сказалась. Сергей Панфилович быстро захрапел, сидя на стульчике, головой упершись в стену, а я лег на настил и тоже заснул. Спали мы крепко. Чайники давно вскипели, огонь в каменке стал потухать, а мы все еще с Умрихиным разные сны разглядывали. Проснулись, как по уговору, вместе. Поглядели друг на друга, старик с укором заметил:

— Что, сват-брат, проспали. Экое дело-то...

Потом и сам улыбнулся и стал расчесывать пальцами седую бородку. В дверь избушки кто-то постучал. Сергей Панфилович ответил:

— Входите.

Но входа не было, а в дверь кто-то скоблился, что крыса магазинная. Старик подошел и отпер дверь. В избушку влетел Рыдай — Степанова собака. Кобель зубами вцепился в полу умрихинского ватника и, упираясь задними ногами, тянул старика к выходу.

— Что, сват-брат, собака не зря озорует. Может, со Степкой и вправду что сочинилось. Лес — он и есть лес, осторожности требует. Что, брат любезный, пойдем поглядим, куда Рыдай побежит. Ежели потянет в суземок — пойдем, ежели к деревне повернет — вернемся в избушку.

Но как только мы вышли, Рыдай сразу же взял направление к Гремучей гряде, что упирается в большую Сотниковскую просеку. Мы встали на лыжи. Для всякого случая захватили с собой увязок десятиметровый веревки, пошли за собакой. За нами выбежали Коротышка и Нерпа. Умрихин открыл дверь избушки, скомандовал:

— Коротышка, в запечник, Нерпа, под нары... Ну!!

Собаки послушно исчезли внутри избы.

Была уже глубокая ночь, и собака далеко от нас не убегала. Отбежит метров сто, сядет на задние лапы и скулит до нашего подхода. Так мы шли при мягком лунном свете, на морозном стукотке. Ветра не было, снег не перекатывался в увалы. В лесу ни шороха, ни шума. Мы шли медленно, прислушивались к лесу, к собачьему лаю. Старик все время водил головой, прикладываясь к лесинам то правым, то левым ухом, что-то слушал, а потом гочкал так, аж трепетали сосны.

— Как есть, Степка в овражке. О, боже ж ты мой... Ежели на него тая рысь, что следы блинами, напала, припорола, сват-брат, Степку, как есть припорола.

Так разговаривая, прислушиваясь, шел Сергей Панфилович вперед к Гремучей гряде. Собачий лай, скулящий и неугомонный, все время висел над лесом.

Когда кончился овраг, начался хребет, крутизна, спад и снова подъем. Старик Умрихин хотя шел на лыжах легко, а стал останавливаться, сильно билось сердце, круто дышалось. Взяв с бегу крутой подъем, мы оба оказались на высоком хребте Гремучей сопки

и сразу увидели Рыдая. Он сидел на снегу, поднял морду вверх и призывно выл. Старик Умрихин быстро скользнул в распад и прежде меня оказался около Рыдая.

Сергей Панфилович вскрикнул и сразу же стал снимать с себя ватник, а потом и белую ситцевую рубаху. В это время подошел я.

Козлов лежал на спине и сжимал горло у матерой рыси с полубурой, пятнистой спиной, с черными наконечниками ушей. Рысь лежала между ног, застыв в мертвой хватке. Она зубами впилась в левое плечо Степана. Передние лапы рыси обнимали Козлова ниже плеч, а задние были вытянуты вдоль туловища охотника. Все лицо у него было в крови, фуфайка изорвана в клочья, рибуши валялись на снегу, под елкой. Снег вокруг них и дальше, до самой овражной сосны был утоптан, забрызган кровью.

Сергей Панфилович снял рысь с груди Степана, осмотрел его, послушал сердце, облегченно проговорил:

— Колотится...

Потом обтер лицо Козлова своей нательной рубахой, щеки натер снегом. Мне приказал рубить лапнику и мастерить волокушу. Я нарубил хвои, связал пучками, а потом веревкой перехватил. Тем временем Степан в себя пришел. Стал пошевеливаться. Старик на него прикрикнул:

— Не ерепенься, сват-брат!

Я прикрыл плечи старика ватником, сердито на него прикрикнул:

— Так-то в могилевскую уйдешь!

Сергей Панфилович не рассердился. Со снега Сте-

пана поднял как малютку. На волокушу положил. Меня в корень упряжки поставил, заставил везти.

Через час Степан сидел в теплой избушке — ему полегчало. Он не стонал и не морщился, когда старик Умрихин делал ему капитальную перевязку и суровую очистку ран. Для такого случая у старика даже йодовая настойка оказалась. Все сотворил Сергей Панфилович по медицинской науке. После перевязки Степан чая горячего выпил, пару рюмок водки пропустил в желудок, закурил, повеселел, а о случившемся рассказал скупю:

— Зверя заметил в большой сосне. Туда его Рыдай загнал. Гляжу и вижу. Рысь то на меня, то на собаку глазами хлюпает, урчит, как кот, шерсть вздыблена, то сожмется вся, то выпрямится. Ну, я не стерпел, да и хлесь из берданки, да, видно, заряд был мал иль плохо попал, рысь-то кряду бросилась да мне на грудь угодила.

И замолчал. Я спросил:

— А как же дальше?

Степан пожал плечами, несмело улыбнулся:

— А дальше неинтересно. Спасибо вам, что не дали мне в лесу сгинуть, замерзнуть...

ЗА ЛISOЙ С КУКЛОЙ

— Вот, сват-брат, дела-то какие. С моими ногами еще не одну такую жизнь проживешь и все беготком да ходунком поторапливаться будешь, — говорил мне старый охотник, Сергей Панфилович Умрихин.

Родился он очень давно, а когда — сам точно не знал. По его подсчетам, сейчас ему в канун пасхи исполнилось девяносто восемь лет, а кто его знает, может быть, и больше.

— Книг о записи моего прибытия на сию землю нигде не сохранилось. Вот так и значусь я по всему Прионежью стогодовалым. Да и знать-то мое рождение было некому, да и незачем. Жизнь в ту пору была захолустная, корявая, что корка сухая, прожженная. Что лесина вековая, я корнями своими в Андомскую землю влез, и вот, сват-брат, от землицы меня не оторвешь, не подымешь.

Вырос Умрихин в Югозерском клину, что берет свое начало от Белоручейских низин. Маленькая деревушка Сойда приютилась в лесном бору, как седенькая старушка. Дома в деревне пятистенные, из всего леса срублены, а неопрятные, с коростинкой. Крыши на тех домах мхом обросли — обомшавели, да избы обтараканели. Тараканы не только в избе, а по летам и в крышах шумят. Дом Умрихина расположен на левой порядковке деревни. Он до сих пор стоит крепко из-за сосновых бревен, что в стенах лежат, из-за смолистости, хотя весь почернел да крыша заквасилась, что берестяная обутка в помойке. Живет теперь Сер-

гей Панфилович в этом пятистенке один, в дружбе с лайками, Нерпой и Коротышкой.

— Нерпа, на повесть, Коротышка, в амбар! Живо! — едва подаст хозяин голос, как собаки тотчас выполняют его команду. А как они разойдутся, Умрихин непременно скажет: — Преумные животные.

Старик хотя и был в преклонном возрасте, но всегда весел и подвижен. За всю свою жизнь он ни разу не был у фельдшера, а знахарок ненавидел, с богом супостатом был, дрался.

— Я, сват-брат, травушкой-муравушкой здоров. Сосновым запашком сытехонек, а ноги мои на охоте закалены, как в лучшем кузнечном горниле. Вот так я и живу на сей землице.

Мы вместе с ним распрягли коня, поставили во двор, в кормушку наложили клеверного сена, пошли чай распивать. После чая старик прохладился, потом из кармана штанин вынул резиновые игрушки, заговорил, улыбаясь:

— Это не просто игрушки, — он указал на кучку безделушек. — Это все приманки.

Он брал в руки одну игрушку за другой, нажимал, и она издавала писк. Дед приговаривал:

— Это, сват-брат, голос мышь-полевка подает, это подранок заяц-ревун, это настоящий кошачий разговор...

Вечером, как только в избах зажглись огни-светляки, Сергей Панфилович оделся, обратился ко мне:

— Ну, сват-брат, если поблизости лисьи стежки видал, то веди, попробуем новшество.

Мы взяли по ружью и вышли за околицу. Ночь была лунная, светлая. На небе горели звезды. Лес

хотя и рисовался в сумеречном свете, а поля и полянки буквально искрились снежинками.

Я повел Умрихина через реку Андому в Заустенковские поля. Там было много оврагов, мелкие райки, бугорки. Накануне приезда Умрихина там я видел и лисью стезжку.

Скоро мы пришли на место. Вокруг было много овражков, по краям которых рос густой черемушник. Я собрался сказать старику, что пора искать место засады, как он повернулся ко мне, тихо проговорил:

— Ты, сват-брат, оставайся у этого оврага, вон за тем кустом, — он показал рукой на ракиту. — Вот тебе пищик мыши-полевки. Нажимай не торопясь, согласуй передышки, спешка нужна только при ловле комаров. Пищи с чувством, не так громко, но и не очень чтобы очень. Приглядывайся да прислушивайся. Ежели лиса тут ходит — обязательно голос полевки проведает. Понял?

— Понял, — ответил я и собрался уходить в куст, когда старик остановил меня.

— Погляди, куда я пойду, а потом уж заседай. Это, сват-брат, надо для того, чтобы в ночи не заружиться, а то невзначай друг в друга пальнуть можем. Я пойду к опушке леса и там зайцем-подранком буду лисовина подразнивать.

Сказал и ушел. Я уселся поудобнее, некоторое время молчал, звать о себе не давал. Но скоро до моего слуха донеслось легкое повизгивание. Я понял, что этот звук идет от Умрихина. Вынул свой пищик — маленькую певчую птичку — и нажал ее. Птичка протяжно пискнула, а потом ровно заскулила. Так я через каждые две минуты нажимал птичку, а она издавала

ровный, порой протяжный, а порой и крутой писк. Со стороны опушки до меня доносились звуки, похожие на вой подранка-зайца, как будто там заяц одной ногой попал в клепцы и, силясь вырваться, верещит, а сорваться не может.

Так мы просидели в снегу у овражков часа три. Лиса не появлялась, и признаков пока не было. Но вот звук от опушки леса стал доноситься явственней, чаще, чем прежде, а вскоре я услышал, как тишину ночи разорвал выстрел. Я осмотрелся вокруг, подался вперед из куста. Всюду была тишина, ни шороха, ни звука, и только серпастая луна тихим ходом оглядывала землю. Прошло минуты три, и я услышал легкое покашливание, шорох лыж и голос старика:

— Вот, сват-брат, моя правда.

Сказал это Сергей Панфилович и к моим ногам бросил большого лисовина с длинным пушистым хвостом.

Так вот старый охотник научил меня, как перехитрить лисиц. После я много раз выходил с пищиком на лисью стезку и всегда возвращался к дому с удачей.

Ноябрьское солнце клонилось к западу. Не было от него ни тепла, ни света. Рыхлый снег, березник на пожне, стройный лес у просеки, да и сам воздух окрасились в багряный цвет, предупреждающий о приближении вечера. Ноги устали месить снег, плечи замозжило. Хотелось скорей на отдых, в теплую лесную избушку.

Просека, по которой мы шли, возвращаясь с лосиной охоты, была широкая, со стройными рядами елей да сосен по обеим сторонам, и казалось, что ей не будет конца. Шедший впереди меня старый егерь, Трофим Завадский, остановился и, сузив свои коричневые глаза, спросил:

— Отдохнуться бы, парень, надо, что-то ноги затосковали, от рассудка отставать стали. Как?

Он снял с плеч рюкзак, повесил ружье на сучок ели стволами вниз и уселся под корень. Потом из широких штанин вынул кисет с махоркой, свернул толстую сигарку, аппетитно затянулся табачком, что ребенок соской. Дым от табачины кольцами да коромыслом. Трофим кашляет, чихает, а курит взасос.

«Вот это куритель», — подумал я и уселся рядом с ним.

Наши спины сомкнулись, и от этого стало тепло. Оно разнежило, и мы вскоре задремали. Сквозь дрему чудилось мне, что со мной рядом стоит лось, за которым вот уже три дня, как мы с Трофимом гоняемся, а догнать не можем. И кажется мне, что лось, кото-

рого я вижу в дреме, скалит на меня зубы и, должно быть, смеется, говорит: «Полуохотничек, не убить тебе меня, проспишь!» Открыл глаза, оглянулся и прямо перед собой увидел лося. Он спустился с сопки и, важничая, прошел мимо нас прямо к озерному берегу. Могучий, темно-бурый, со светло-пепельным брюхом, он остановился на расстоянии выстрела и смело поглядел на пресеку, где мы сидели.

Горбоносая голова лося с челочкой на лбу опустилась низко к земле и сразу же поднялась обратно. Ноздри у лося раздувались. Было ясно, что он принялся. Убедившись в безопасности, он стал медленно переставлять длинные ноги, пошел ближе ко мне. Я сидел, не смел шевельнуться. Глаза мои следили за лосем. Левая рука сжимала цевье ружья, а правая держала патрон с жаканом. Лось снова остановился. Постоял у озера, обнюхал воздух, а потом осторожно зашел на лед. Он поднял правую ногу и ею ударил об лед, будто пробуя — крепок ли? Теперь лось повернулся ко мне головой. Тупая узкая морда, толстые губы. Мне показалось, будто лось открыл рот, спросил:

— Почему не стреляешь? Я все равно тебя не боюсь.

Но я не стрелял. Не мог я выстрелить, хотя все у меня было уже подготовлено: прицел взят, спусковой крючок нащупан, руки не дрожали. Лось в это время передней ногой вторично ударил об лед, и много сильнее, чем в первый раз: звон по полюсью пошел. Трофим проснулся:

— Ась? Что, парень, молвил? — спросил он меня спросонок, хотел встать.

Я цыкнул на него, за полу ватника удержал, показав стволом ружья на лося. Трофим от радости

открыл рот, белые зубы показал. Он уже чувствовал запах лосиной говядины, нюхал широкими ноздрями жирные щи. А лось в это время снова прислушался, повернулся на одном месте несколько раз и, подойдя к нашему местосидению на десять шагов, остановился. Через мгновение мы увидели, как он поднялся на дыбы и сделал сильный удар по льду обоими копытами. Гулкий раскат на заре побежал в лес на крутые сопки. Трофим страстно зашептал мне:

— Штреляй, парень. Тебе быть ш полем (букву «с» он не выговаривал).

Но я смотрел, любовался и никак не мог нажать спусковой крючок. Трофим волнуется, плечом меня подпирает, шепчет:

— Штреляй, паренек. Цельша в шердце, тебе видней, у меня ружжо на шук повешено, не доштать. — Потом Трофим потирает руки, улыбается, сопит на ухо, как надоедливый комар: — Да штреляй же, парень. Упуштишь животину, прибью.

А лось в это время, высоко задрав красивую голову, пошел через озеро мимо нас. Пошел без опаски, быстро, что ветерок. Трофим заплакал:

— Эх, черт, брат. Упуштишь животину. Штреляй, шукин сын.

И тогда я выстрелил. Лось круто поднялся на дыбы, отпрянул в сторону и взял разгон: пошел так, будто кто в это время ему прирастил крылья. Одним словом, не побежал, а полетел, вздымая позади себя снежный ураган. Трофим, скрипя зубами, набросился на меня.

— Опять ш пуштой котомкой до колхозу явимша. Промахнулся на ближнем перешейке!

Тогда я не стерпел и сказал Трофиму:

— Не юли, Трофим. Надо иметь хотя бы немного совести. В самок я не стреляю. Промаха сейчас не было, я стрелял в воздух.

Потом я встал с пенька, пошел по просеке к дому. Трофим шел следом за мной и всю дорогу сморкался, вздыхал, охал, меня ругал. Так мы дошли до заполья и там разминулись, не сказав друг другу «до свиданья». Недели две после этого случая мы ходили на охоту вместе, но не разговаривали и не здоровались. Трофим дулся, а я отмалчивался.

В метельный день у Саражских полянок, прямо с подхода у стога сена мне удалось убить старого лося-самца. Трофим настиг меня на берегу речки, где я свеживал тушу, улыбнулся, протянул мне руку:

— Здорово, воздыхатель. — Помолчал немного, заговорил: — Хорошо привелось тебе. Такой для шула и щец годитша, вологи-то школько, а холодец-то какой из ног может получитша. Угу-гу...

После этих слов Трофим снова спросил меня:

— Ты на меня не шердишша? А, воздыхатель?

— За что же мне сердиться, — ответил я.

— За поверхноштный выштрел в лося.

— Так стрелял в лося я, а не ты. Чего уж тут сердиться.

— Вот именно, штрелял-то в него ты, а не я, а я тебя всяко выругал.

— Ну, а теперь квиты? Идет?

Трофим улыбнулся.

В начале ноября выпал первый снег, мягкий и рыхлый. Морозец, подернувший мелкие ручьи и бочаги легким ледком, отошел. Воздух потеплел. В лесу наступила счастливая пора для охотников. Заяц-беляк к этому времени перешерстился, принарядился в зимнее платье. Но он поторопился. Теперь прятаться от хищников да от людского глаза стало куда труднее. Его выдавала белая шкурка. Где бы он ни скрывался, а белый комочек заметен далеко-далеко. Бывало, идешь по мшанику и брусничнику, и нет под ногами ни шорохов, ни стукотков, кругом просторно, свежо. Заходишь в березовую рощицу. Здесь все живет, дышит. Хотя солнца и нет, но небо голубое. Стоят березки стройные, позолотой подернутые и, рисуясь своей красотой, раздаривают улыбочки. Листопад кончился.

Идешь по таким местам и все глядишь, глядишь: нет ли где на ближнем перешейке белого комочка с черными наконечниками ушей. Если заметишь, с выстрелом советую не торопиться. Приглядишься внимательней. Увидишь, как комочек начнет опускаться в мшаник, сжиматься до пределов, остаются две черные тычинки ушей. Сначала они стоят недвижно, а потом начинают тоже прижиматься к белому комочку. Так беляк может лежать в ямке мшаника иль под ветками березника долго и будет заставлять тебя улыбаться.

Прионежский народ любит такую охоту. С большим нетерпением ждут они узерку, а как дождутся,

то лес в такие дни наполняется грохотом выстрелов. Бьют на узерке не только зайцев, бьют куропатку, рябчиков, тетеревов и глухарей. Охотятся в это время без собак. Проходишь целый день, а собачьего лаю в лесу не услышишь.

Глубокой осенью я охотился по черностопу в урочище Сальма. Моя тропа брала свое начало от Березковских полей за деревушкой Марьино. Места в Сальме низменные, ровные. Прямо от полей идет густой ельник, а дальше прямостоящие сосенки. Есть здесь березовые и осиновые рощицы, есть черемушник да рябинник. Много в этих местах ягод, черники, брусники, куманики и клюквенной россыпи на болотах. На вырубках малинник, а у болот голубичник растет. Все эти места привлекают обитателей леса.

Моя тропа, не доходя километра три до Шивручейских низин, выходила на государственную просеку. На просеке, в прямой порядовке стояли телеграфные столбы, а на них проволока. Почти каждый день, возвращаясь с охоты, я замечал на просеке птичьи перья. Они мне рассказывали, что какой-то хитрый зверюга уничтожал птиц, а как он их ловил, пока было покрыто тайной. Сегодня под проводами я обнаружил перья рябчика. Пройдя шагов с десятков, увидел косача черно-сизого. Когда я подходил к нему, он еще трепетал крылышками. Я осмотрел косача и пришел к заключению, что птица во время лета убивается о телефонные провода. Но кто ж подбирает эту добычу — пока для меня было загадкой. Я знал, что зверя поблизости быть не должно. Лиса хотя и широко бегает, но в такую пору жметя ближе к деревне, к курочкам. Если можно было подозревать, то только

рысь. Та в поисках пищи может выходить на большак. Ей не страшен шум моторов.

Дня через два снова выпал снег, и я пошел на просеку. Когда я пришел туда, то вновь обнаружил на снегу свежую кровь и перья тетерки. Но следы, которые я увидел, раскрыли тайну. Ровная строчка следков начиналась от деревни Марьино и шла все время по просеке. Это, конечно, была лиса.

«Так вот ты какая сообразительная», — думаю я и сразу же принимаю решение во что бы то ни стало перехитрить лису. В этот же день я ставлю крестовые силки, а у столбов устанавливаю клепцы. Закончив установку ловушек, я отправляюсь в деревню с надеждой, что утром лиса будет в моем рюкзаке. Но не так-то просто лису перехитрить.

Вот уже две недели, как я проверяю каждое утро поставленные ловушки, а результатов нет и нет. Лиса как будто узнала мои намерения и каждый день изменяла свой маршрут. Я переставлял ловушки на новые места, но все бесполезно. Лиса прошивала новые стежки, подбирала под проводами птицу. Рябчика, который упал прямо к клепцам, она не тронула.

Такая неудача тревожила меня, но я не отступался. Охотник и летчик принимают решение один раз и его выполняют. И вот вечером, в канун рождества, я взял с собой мерзлой рыбы и с ней вышел на просеку. Подойдя к месту стежки лисы, я в середину между двух клепей рассыпал рыбицу. Рыба — это самый великий соблазн для лисицы.

Сделав все, как положено, с большой сторожкой, я ушел обратно в деревню. Рано утром вновь вышел

на просеку. Было еще темно, когда я появился на тропе. И то, что я увидел, встревожило меня. Рыба была съедена, вокруг снег примят, а лисицы не было. Присмотревшись внимательней, я обнаружил на снеговом покрове дорожку. Эта дорожка привела меня в густой можжевельник. В нем под кустом я нашел проказницу. Она была мертва.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПТИЦА — КОЗОДОЙ

— Гришка! — кричала женщина, одетая в цветное поношенное платье, вслед удаляющемуся козьему стаду.

За стадом шагал подросток-пастух. На нем было простенькое матерчатое пальтишко, серое в клеточку, голубенькая панамка. Подросток был босиком. Часто понукая коз, он не оборачивался на окрик и не обращал ни малейшего внимания на то, что ему кричала женщина, а она все бежала за ним и часто-часто говорила, будто пела:

— Ты, паренек, поглядывай за стадом да козодоя, гляди-кась, не пускай к нему, а то опять он, проклятуший, всех коз выдоит.

Мальчик пожал плечами, закусил губу, промолчал, и только его длинный кнут взвизгнул, описывая дугу выше козьих голов.

— Гришка! Оглох, что ли? Возьми вот рогатку да при надобности стреканешь в козодоя. Гляди-кась, только в мою козу не угоди, она стельная и на той поре, что котиться. Слышь, паренек?

— Слышу, — отозвался Гриша и махнул кнutowищем хлыста, показывая обратную дорогу. — Не допущу.

Козьего пастуха Гришку я нашел в полдень у крутого ручейка, что серебряной проволокой опоясывает небольшой сосновый борок. Козы паслись у подножия борка, некоторые отдыхали, не переставая и во сне жевать. Я подошел к Гришке, тихо уселся рядом с ним. Он услышал, погрозил мне рукой, прошептал:

— Тише. Гляди, как птица букашек ловит.

Все внимание мальчика было направлено к речному изгибу. Там и я заметил, как, искусно маневрируя, летала птица. То она кувыркалась в воздухе, переворачиваясь через крыло, то делала неповторимую мертвую петлю, то ныряла в воздухе, как самый хороший пловец, а потом уже переходила на зигзаги и восьмерки, сопровождаемые летной бочкой. Потом, как я заметил, она остановилась в воздухе и, точно на парашюте, шумя крылышками, стала спускаться к земле.

Мальчик-пастух был весь поглощен такой искусной игрой неизвестной ему птицы. У нее большой рот, маленький клюв, по краям рта торчат ряды длинных щетинок. И по всему птичьему полету, и по тому, как птица искусно ловила насекомых, я узнал в ней козодоя, того самого козодоя, о котором у нас в Прионежье говорят, что он коз выдаивает.

Так, наслаждаясь полетом птицы, мы долго сидели молча, и только тогда, когда козодой улетел, мальчик спросил:

— Как тую птичку зовут?

— Козодоем, — ответил я.

— Козодоем? — мальчик в удивлении раскрыл рот. — Козодой. Ох, боже ж ты мой, а я-то, дурак, думал, что бабы наши правду говорят.

— А чего они говорят? — спросил я.

— Да будто бы козодой коз доит.

— Ну, а что ж ты им сейчас ответишь?

Мальчик бросил рогатку в овражек подле речки, почесал в затылке и не без удовольствия ответил:

— А скажу им то, что козодоя видел сам. Козодой не коз доит, а насекомых ловит.

В начале октября мне довелось погулять в Варваркинских лесах, что простираются от берега Онежского озера до Пудожских пойма. Шел я не тореными дорожками, а по приметинам, оставленным моим отцом. От сучка, воткнутого в замшелый пенек и наклоненного в сторону Огненного бора до махонького затеска на облезлой ольшине, а от нее по кольцам скрученной солнцем березовой бахтармы до великана муравейника. Дорога была не гладкая, но сухая. Со мной на пару шел охотник Никола Зародов, тот Зародов, который везде рассказывал, что кто мшонной каши не едал, тот леса не видал. Он не любил сидеть у костра, так как был уверен, что у костра добычи не высидишь. Парень был на ногу хлесток, не уставал, во всем понаровный и любознательный. Частенько он донимал меня спросами о том, почему поют птицы и кто их учитель, где гнездятся журавли и тому прочее.

— Ну как, Никола, еще не устали ноги? — спрашиваю я, когда мы перешагнули еловую чащу и уперлись в березник.

— Да нет, еще не устал, — отвечает он и старается шагать в лад с моими ногами.

Я замечаю, что он начинает путаться шагом, говорю:

— Вот, мил человек, как дойдем до спада, перешагнем Черный ручей с Мозолистой пяткой, тут сразу и покажется Дырявая обутка Залединской гари, а там много глухарят гнездится. Вот где поохотимся.

Обойдя большой падун непролазной еловой чащи, мы увидели речку Слауту. Остановились. Огляделись и под тощую елочку на мшанину сели на перекур.

Завертывая сигарку, Зародов спросил меня:

— А где же тут Мозолистая пятка с Дырявой обувкой?

Я посмотрел прямо перед собой в крутой распад и, протягивая руку, проговорил:

— Вот она, эта пятка, а за ней будет Дырявая обувка. Ты не смейся. Такие уж у нас тут обиходные названия стариками подобраны. Есть еще похлестче, да об них умолчу.

В это время Зародов круто схватил ружье, но я взял за цевье его ружье, положил подле себя, шепнул:

— Тоже вижу, что медведь прогуляться идет.

Медведь шел медленно, направляясь к ручью. Медведь был не велик, видно прибыльной. Шел спокойно и все время принюхивался к воздуху, не пахнет ли поживкой. Зародов толкнул меня в локоть рукой:

— Стреляй. Твоя удача.

Но я повертел головой, улыбаясь ответил:

— Удачи не будет. Стрелять не будем.

— Оба? — с удивлением спросил Зародов.

— Оба не будем.

— Почему? — встревожился Зародов.

— Нет лицензии.

Когда медведь вошел в речку и скрылся за густой черемуховой порослью, Зародов, все еще смущенный, заговорил:

— Ну и терпение же у тебя, охотничек. На весь мир хватит. — Потом покачал головой и с упреком добавил: — Видеть зверя и не выстрелить! Как же так?

Я пожал плечами, улыбнулся.

— Бывает и так, — ответил я Зародову. — Хочешь стрелять, да совесть не велит. Здесь по всему ручью, да и дальше к Огненному бору, заповедник. Стрелять здесь не полагается. — Потом пояснил ему: — Медведь этот — муравейник. Такой зверь может днями разгуливать в коровьем стаде, а его не тронет. Любит он ковыряться в муравейниках, лакомиться около пней замшелых, там червячков разных ищет. Бывает, за ночь так исполосует кочки на пожнях, что боже ж ты мой, как добрый пахарь. Это он мышей оттуда достает.

Медведь напился студеной водицы, вышел на бережок и пошел себе снова в густую чащобу. Дойдя до черемушника, он остановился, повел носом, фыркнул, согнал стаю соек. Затараторила синица, бойчее застучал дятел на приречной ольшанине. Зафтюкал малиновый щур, застрекотала серо-бурая чечетка, бахвалясь своей красотой. «Цифи-пинь-пинь-трррр...» — заговорила на березе синица, всматриваясь под корневища березы. Я понял, что синица удивилась, что увидела под березкой живую гусеницу, и, быстро юркнув с ветки, схватила ее клювом. Закричала лазоревка: «Ти-ти-чу-лю-лю...» Забеспокоилась, полетела за синицей, стараясь у нее отнять гусеницу. Тут сразу же вспыхнула гаечка, раздаривая по всему лесу: «Ци-цигесссс». Но тут невесть откуда появилась черная птица, паря низко над землей, высматривая добычу, и сразу все стихло.

— Вот и все, — сказал я и повернулся к Зародову. — Пора и нам ноги разминать да тропу торить.

В тот год на наш колхозный телятничий двор два раза наведывались волки. Первый раз под утро, а второй в полночь. Попервоначально волки телят считали, а потом выбили оконные рамы да телушку по кличке Побирушка зарезали и на волю вынесли и там пообедали. На второй раз в двери вбежали, телятницу, Манефу Крутую, чуть с ног не сбили, в сторону оттеснили, та завопила: «Кыш, кыш! Что за мышь!», а сама потом в обморок упала, а когда очухалась, волков и след простыл. В этот раз они увели с собой трех теленочков. Мужики затосковали, а председатель колхоза, Арсений Плужников, ко мне пришел и начал мне лекцию о волчьих повадках читать, да так скучно, все переврал и ни единого путного слова не сказал. Я тогда Плужникову и ответил:

— Коль по делу пришел — выкладывай, что и как и чем я могу быть колхозу полезен.

Понял Арсений, язык чесать перестал да мне отвечает:

— Волков надобно отучить от нашей деревни. Повадились, что парни к девкам на посиделки ходить, а сами норовят что-нибудь стащить. Правление колхоза вчера заседало и поручило тебе, Кирилл Манос, волков истребить. За каждого истребленного волка выделяем тебе ягненка.

— Добро, — тогда ответил я. — Волков истреблять пойду, но ягненка за них мне не надо. У меня свое стадо в хлеву стоит.

— Это уж как вам заблагорассудится, — сказал Арсений, губу покусал, лоб почесал, ноздрями по избе поводитил да снова спросил: — Каким побытом их истреблять будешь? Может, стрихнину достать? Мы это можем в два счета обделать.

— Нет, не надо, — категорически отвечаю я. — Стрихнина в пададь насуешь — волка не обманешь, а себе работенки достанешь. Другим побытом буду охотиться.

И охотился я в ту пору за волками на приваду. Интересно было, а другим завидно. Через неделю я приволок к себе в избу двух матерых волков, а еще через день матку добыл. Шкуры сдал, получил личную премию, продуктов, боеприпасов и тому прочее взял. Все это к себе в избу приволок. Решил отпуск от охоты взять. Сижу день, сижу другой, и вдруг такая скука без работы на меня наслала, что спасу нет, невмоготу стало. Не могу ж я сидеть, в окошко глядеть да воробушков считать. Душа в работу просится, руки по ружью стоскнулись, а голова и ноги в лес навострились, команды ждут. Тут и Клава Смуглая, наша почтальонша, мне писульку из области принесла. В той писульке ясно обозначено, что охотнику деревни Слобода Кириллу Маносу за убийство трех волков разрешается отстрел первой половины лося. Значит, тоже премия. Премило. Почувствовал я в ту пору себя очень приятно, оделся потеплее — и айда в большие леса, на светлые поляночки, лосей искать. Где стога зеленого сена, где много осинника да березок, там и лосей много. На пути зашел к нашему председателю колхоза, показал областную писульку, он читает, а как прочитал — улыбнулся, заговорил:

— Хорошо получается, товарищ Манос, вот что значит взаимная выручка! Ты волков истребил, колхозное стадо спас от погибели, тебя за это в газете пропечатали, похвалили и даже разрешение на лося прислали. Проздравляю и благословляю. Ни пуха тебе, ни пера.

Я ушел с таким его благословением и в этот же день после обеда, в медосовской райке, около Саражи-реки, добыл первую половину лося. Не буду рассказывать, как я лося ухлопал, это не так уж интересно для вас, а вот какая после этого несусветица пошла, рассказать следует.

Убитого лося-самца я к себе в баню на щуплой кобыле привез. Отогрел его да освежевал. Попосля весь передок отрубил, да за спасибо в колхозную кладовую сдал, да кой-кого из соседей наделил тем мясом. Самому два окорока осталось, варить их почал. И в тот благодатный вечер над нашей деревней приятный запахок загулял и до заполья добрался. И надо ж такому случиться!

В то время по заполью к нашей деревне наш уполномоченный милиционер волокся. Почуял он лосиный запахок, почал носом водить, из какой избы тот запах валом валит. Но не мог определить, так как в каждой избе лосиные щи варились, а тетка Манефа, так та из ног холодец стряпала. Понюхал досыта того запаха участковый милиционер и к моим соседям в избу пошел, там спросил:

— Из чего щи варите?

А мои соседи непривычны врать. Сразу сказали, что щи варятся из лосятинки.

— А кто добыл того лося?

Ну, опять же ему и обсказали — мол, так и так, лось убит Маиосом согласно областной лицензии. Милиционер было домой пошел, да в большой семье не без уroda. Кто-то на меня накапал, замарать захотел. Через неделю меня в народный суд вызвали. По одной дорожке один снег ногами месили мои соседи, и никто из них не знал, зачем и почему их вызывают в суд. Осьмнадцать километров до Андомы пешими шли и все думали — за что такое наказание? Никого не убивали, худым словом не обкладывали, ничего не воровали, ядреной матки не вспоминали ни дома, ни в обществе, а в суд вызывают.

В город заявили все скопом. Сам председатель колхоза, Арсений Плужников, и тот прикатил на своем трандулете. Собрались мы в зале заседания и поджидаем. Поперву судили за кражу, потом за мародерство, после за хулиганство. Приспела и моя очередь. Председатель суда вызывает мою фамилию, спрашивает:

-- Защитника будете брать?

— На кой он, леший, защитник-то, что я, советские законы не знаю, что ли? Все законы правильные. Беззаконие наш суд не дозволит. Я же никакое преступление не совершил, чтоб меня защищать.

— Ладно, — говорит судья, — садись, дело покажет.

Я сел, мне судья говорит:

— Не туды, гражданин Манос, сел.

— А куда прикажете? — спрашиваю.

— Вон на ту скамеечку, — судья указывает мне рукой на подсудимую.

Я махнул рукой, подумал про себя: на подсудимую

так на подсудимую, я преступления не совершал, у коров титьки не обрезал. Сел я, а судья стал читать обвинительное заключение о моем браконьерстве. Читал он долго, а я понял только одно слово, что я браконьер. Обидно мне стало. Хотел было с судьей ладом поговорить, да он меня первый стал спрашивать:

— Почему вы, гражданин Манос, убили не пол-лося, а целого лося? Вам же разрешено областью отстрел первой половины лося.

— Помилуйте, — отвечаю я судье. — Да где ж это видано, чтоб в наших лесах иол-лося прогуливалось?

Весь зал, что слушал мое дело, засмеялся, да так громко, что судья колокольчиком побрякал, строго сказал:

— Прошу исполнять тишину и порядок.

И опять меня спрашивает:

— Того я не знаю, живет ли у вас в лесу пол-лося, а вам из области разрешен отстрел только пол-лося. Так как же, гражданин Манос, признаете себя виновным в браконьерстве?

— Нет, — отвечаю я громко. — Не признаю и не могу признать, так как я убил первую половину лося согласно лицензии. В ней черным по белому так и обозначено.

Судья перебивает меня:

— Вы нарушили советский закон, стали браконьером. Почему бы вам не походить по лесу да не поискать пол-лося. Раз у вас лицензия на пол-лося, значит, область знает, что таковые в лесу живут.

— Нет, не живут таковые, — отвечаю я судье. — Слыхом не слыхивал никто, чтобы голова лося с передними ногами вперед шла, а задняя часть с задними

ногами назад тянула и в другую сторону убегала. Такое не бывает.

Судья что-то спросил у заседателей, те улыбнулись, головами качнули и носы платочком утерли. В зале было весело. Судья обращается к председателю колхоза Плужникову:

— А не знаете ли вы, куда гражданин Манос ухитил лося?

— Знаю, — отвечает Плужников, пиджак расстегивает с пуговиц, галстук на кашемировой рубашке поправляет, заявляет: — Переднюю часть Манос в колхозную столовку отнес за ни за что, кой-кого из соседей наделил, ну и сам того лося варил. Справно Манос сделал, душевно, как и положено по совести.

Судья хмыкнул:

— Тоже полез в лес, все справно да справно, а законов не соблюдено.

— Нет, — отвечает наш Плужников, краснея. — Тут все законы соблюдены полностью. Я тоже большую жизнь прожил, а пол-лося не видал. Этого не бывает.

Судья разнервировался, закричал:

— Но такое в лицензии написано.

— А вы с толком прочтите. Может, поймете, — резонно заметил Плужников и мне глазком подмигнул: мол, не трусь, Кирилл Петрович, все обойдется.

Судья стал ту бумажку читать, что я из области получил. На том месте, где было написано, что мне разрешается отстрел первой половины лося, запнулся, спросил:

— Это как же понять, гражданин Манос?

Я повеселел и к судье обращаюсь:

— Вот вы, дорогой гражданин, когда на обед из конторы домой идете, то, наверное, каждый раз вспоминаете свою другую половину: мол, как-то там моя другая половина обед сготовила и тому прочее. И я сподобен этому. Шли два лося, самец и самка, ну, стало быть, в кого же мне прицел делать? Конечно, в самца. Он и есть первая половина, так как мужского происхождения и тому прочее. Самок, то есть другую половину, я отродясь не убивал. Стыдобушка берет и преступлением такое дело считаю.

Тут судья заулыбался, с заседателями посовещался и к прокурору обратился:

— Слово имеет прокурор района.

Фамилию прокурора он не назвал. Прокурор сразу встал, и я тоже встал. Прокурор на меня рукой махнул, сказал:

— Садитесь, товарищ Манос, зря не волнуйтесь. Я сел, а прокурор с усмешкой проговорил:

— Получилось недоразумение. От обвинения отказываюсь.

Я от радости к прокурору побежал, руку ему хотел пожать, да старость одолела, споткнулся, запнулся, кубариком под стол к судье упал. Сам судья меня под руки поднял, на ноги поставил и мне на ухо шепнул:

— Вы уж, этого-того, не рассказывайте никому об такой канители.

Ветер ли разнес, дождик ли разметал, только люди прознали и доселе улыбаются, говорят:

— И охотник добрый Манос, а пол-лося найти не сумел.

БРАКОНЬЕР МЕНЕК

По соседству со мной, на первой порядковке деревни, жил мужичок, Фарисей Кирьянович Менёк. Фарисей числился в колхозе рядовым работничком, а как породнился с председателем колхоза (за его сына Авдея свою дочь Агнушу взамуж выдал), то сразу ж был поставлен на должность куриного гуртоправа. Но в такой должности Менек пробыл одну неделю — сместили. А за что? Говорят, что в день рождения Агнуши он подарил ей из колхозного стада десяток ленгоров и двух петушков, а для зятя Авдея ночью вывел из колхозного свинарника годовалого поросенка по кличке Прыш, вроде как будто на прогулочку, а наутро свинарь Иван Мельтешин принес председателю Акимову акт подписывать. В этом акте значилось, что годовалый поросенок Прыш сгинул без вести. Меньку все сходило с рук. Акт был подписан в канун дня рождения Авдея.

Менек голову повыше поднял. Кое с кем из руководящих работников стал заигрывать — шельма в должность метил, да вовремя народ распознал его, одернул. Говорят, что после этого председатель ночей не спал, все совещался — куда бы свата пристроить, днями созванивался с районными руководителями, и вот за обеденным столом сообщил Акимов своему свату Меньку радостную весть:

— Пойдешь, сватушка, рыбнадзорить.

— Подойдет, — согласился Менек и зараз стопку осушил: значит, новую должность смочил.

После Менек расцвел. Себе рубаху новую купил: рубаха атласная, по подолу вышитая. Пояском кавказским перетянулся. Форсит по деревне. К лодке, что колхоз ему дал для рыбнадзора, ходит, головой повертит — принохается, откуда ветер дует. По бережку пройдетя, носом засос сделает, чем пахнет. Из его глаз ничего не ускользнет. . . А по зорям, утром и вечером, с женой Парашкой бельевыми корзинами красную рыбицу на повесть носит — весь вспотеет, покраснеет, побряхтит уточкой, Парашку расшемит.

Не понравилось такое поведение Менька председателю местной власти, Григорию Стеблеву. Вызвал к себе Менька и ну спрашивать:

— Почему нарушаешь законы? Каким таким побытом воруюшь у государства красную рыбу? Знаешь ли ты, Менек, что река Андома, что впадает в Онежское озеро со всеми ее притоками, есть заповедник?

На все вопросы Менек вразумительно отвечал:

— Законы не нарушаю, а их сторонкой объезжаю, чтоб, значит, меньше изнашивались. А то бумага — что с бумаги спрашивать? А что рыбу у государства ворую, то это уж лишнее, товарищ председатель. Это наши мужики на меня ябеду пустили. Им завидно, что Фарисею везет, что Елисею: у него в мереже всегда густо, а у них пусто. Знаю и то, товарищ советский председатель, что Андома — река есть государственная. А я-то чей? Я тоже человек государственный, рыбнадзор. . . и прочее. . .

Отступился от Менька Григорий Стеблев, а Фарисей проказничает, не унимается. Колхозники, что лю-

бительски занимаются рыбной ловлей, в сельсовет пришли, потребовали:

— Примите строгие меры к браконьеру Меньку. Жизни от него не стало. Рыбу из мереж вынимает, неповинных людей штрафует, сутяжничит, взятки кой с кого берет. . .

Колхозникам не откажешь. Пришлось срочные меры принять. Вместе с председателем союза охоты и рыбной ловли пришел Стеблев на поветь к Меньку. Его в ту пору дома не было. Парашка объяснила, что Фарисей уехал мережки да сетки проверять. Прасковья показала содержимое погребца, а пока они разглядывали да просчитывали, явился и сам Менек. На радостях всем руки жмет, в гости приглашает:

— Копченочки из форели аль лососятку поджарить? А?

Потом на Парасковью прокричал, что проскрипел журавлем:

— В сельпо! Нужен продухт!

Парашка убежала, а они вскорости в сельсовет ушли да там акт составили и вынесли тот акт на обсуждение колхозного собрания. Колхозники единогласно — судить Менька товарищеским судом. При голосовании один Акимов воздержался. Не мог свата обидеть.

Суд над браконьером Меньком проходил в колхозном саду на открытой сцене. Председателем суда был избран расторопный тракторист Клюшкин, а заседателями пристроили Глашу Увалову да Анютку Демину: славные девки, себя в обиду не дадут, любому мужику нос утрут. Народу на суде было полным-полно. Сам Менек на суд пришел в сатиновой

рубаше с кашемировой лентой по подолу. На квадратной голове лихо сидела серая кепка, стеганная под звездочку, в зеленых шароварах с напуском, а сапоги лакированные в гармошку. К березке притулился, семечки грызет, шелуху на помост кидает. Заседательница Глаша замечает:

— Гражданин Менек, так-то делать нехорошо. Люди подметают, а вы сорите.

Менек головой тряхнул, низко поклонился.

— Извиняюсь, — сказал с язвочкой, добавил: — Техничка Валя деньги чистым серебром получает, подметет. Наше дело плевать, а ее растирать.

Глаша выругалась, отошла в сторонку.

Председатель Ключкин и заседатели, Глаша и Анюта, за стол прошли. Ключкин громко сказал:

— Суд идет! Прошу встать!

Все встали. Менек как сидел, так и остался сидеть. Ключкин на него рукой показал, просит:

— Гражданин Менек, прошу встать.

Менек глаз сузил, прошипел:

— А это еще зачем?

Ключкин опять же его любезно просит:

— Гражданин Менек, прошу встать.

Менек заулыбался, заискивающе ответил:

— А ежели я встать не могу?

— Граждане, что рядом с Меньком, подсобите ему подняться.

Все засмеялись. Менек поднялся, прошептал:

— Самодеятельная инсценировка. . .

Тракторист Ключкин обвинительный акт зачитал. Пока перечислял то, да се, зал молчал, а как сказал:

— Во время обыска у гражданина Менька обна-

ружено тридцать две лосятки в копченом виде, каждая весом от шести до девяти кило, двадцать две форелины в сухом посоле, каждая весом от трех до шести кило, и все оные обвернуты казенным пергаментом, что намедни потерялся из маслозавода. . . и так далее. . . — тогда зал тяжело вздохнул. У председателя волосы дыбком поднялись.

— Вот это жимолость. . .

— Действительно, рыбобжор, а не рыбнадзор. . .

Менек заседателей взглядом обежал. Председательствующий его спросил:

— Для какого порядка вы, гражданин Менек, обеспечивали себя с избытком красной рыбой?

Менек встал, пальцы у правой руки загибать почал, с усмешкой заговорил:

— Пару рыбин я еще с весны директору маслозавода посулил — р-раз. Три рыбины взялся скоптить для прокурора — два-а-сс. . . Рыбину я самолично обещал главному ревизору района — три-и-сс. . . Пять рыбин берегу для приезжего начальства — четыре-ре-е-сс. . . Ну, и кое-кому по мелочишкам.

— Кому же? Выкладывай!

— Да всем, кто хочет. Вот я какой, а вы судить. . . Кого судить-то? Меня, Фарисея Кирьяновича. А за что? Намедни инспектор рыбнадзора, что проживает в Петрозаводске, у меня взял две рыбины да чарку вина выпил. . . Бухгалтер сельпо, что мне зимой самолично из склада принес валенки, разве ему откажешь? Взаимовыгодность, взаимодоление, а вы судить. . .

Председатель Ключкин снова спросил обвиняемого:

— Гражданин Менек. Расскажите суду, по какой такой надобности у тебя в погребце оказалось шесть трехлитровых банок лососиной икорки?

— Это что под вакуум закупорены? — без возмущения спросил Менек.

— Не знаю, под какой вакуум ты их закупорил, только я их самолично видел.

— Конечно, — совсем спокойно заговорил Менек. — Как же не видеть их. Не ворованные, прятать нечего. Не ты ли посядне приходил ко мне на погребец, в ногах валялся, упрашивал отпустить икорки для больных ребятишек... Помню, помню. Как же не помнить-то.

Кто-то из зала сурово спросил Менька:

— А вы ему икорки-то дали?

Менек опять же спокойно ответил:

— Держи карман шире. У него ребятишки, а у меня начальство. Не могу же я оставить без икорки, ежели прибудут на гостины. Начальство, оно и есть начальство. Рыбнадзорское начальство еще с весны заказало сготовить для них икорки. Не всякому мой товар дается, не даром продается.

И суд удалился на совещание. Зал снова вздохнул, заперешептывался, на Менька серьезные взгляды стал бросать, что из рогаток стрелять. Потом народ от него отвернулся, а Менек сидит один на переднем крае и семечки шелушит. Ему хоть бы что. Он верил в силу красной рыбицы, но ошибся. Народ — не рыба, не коптится, не солится.

Приговор Клюшкин читал стоя:

— «Товарищеский суд колхоза «Красный рыбак» некомпетентен выносить приговор за злодеяния рыб-

надзора Фарисея Кирьяновича Менька. Товарищеский суд постановляет: дело о браконьерстве Менька передать в народный суд пятого участка. . .»

Зал рукоплескал. Менек мычал и часто сморкался, а потом встал и во всеуслышание заявил:

— С меня что с гуся вода. У меня брат в юристах сидит — оправдает.

Но и братан-юрист не помог. Через месяц Менек ушел в город на суд, да оттуда так и не вернулся. Говорят, что тот суд приговорил Менька к высылке из пределов заповедника на два года.

И хорошо.

В деревне Гридино, где я провел свое детство, у меня был дружок, Васька Ястребов. Дом Васьки Ястреба стоял в первой порядковке деревни почти у самой реки Вожеги, так что отец Васьки, Никита Парфеныч, часто бахвалился:

— Зачем нам с Васькой на рыбалку ходить. Отвори окошко — и знай закидывай лесу, а рыба тут как тут. . .

Но рыбы тут как тут, конечно, не было, и мы всегда над Васькой смеялись:

— Рыбку из окошка удишь, а горошек с картошкой варишь.

В деревне Ваську все звали Ястребом, однако он нисколько не был похож на бойкую и хитрую птицу — ястреба. Васька был малоподвижен, толстоват, нос что бабья кнопка, волосы в кудрях и все белые, руки длинные не по росту, но слабые. Говорят у нас, что Васька такой удался потому, что отец и мать его на белых лепешках выкормили да яйцами из-под кур заправили. Васька был малоразговорчив и упрям — на чем захочет, обязательно настоит. Но вся беда в том, что его не всегда отпускали с нами в поле на рыбалку. Часто с плачем отпрашивался у отца сходить с нами в ночное иль по осеням в загонье коров пасти.

У меня же было совсем иное дело. Я рос без отца, и вся власть надо мной принадлежала дедушке Василию Семеновичу. Дед был у меня настоящий, геройский. Он пешком прошел из деревни до Севастополя. Там

был в подчинении Льва Толстого. За сражения под Инкерманом, да на четвертом бастионе, дедушка получил все четыре георгиевских креста. Берег их, часто рассказывал, как получил, но потом кресты зарыл в землю. Так было нужно. Иначе бы не миновать высылки. Я запомнил деда ласковым, добродушным, с его бульбовскими усами, с толстовской бородой, которая закрывала его грудь. Любил дед землю, работу, детишек и свою родину, но с попом был в неладах. Бога, черта, дьявола и иже с ними не любил, да и не верил в эти сказки. До меня дедушка был добр. Он не разрешал мне своевольничать, но всегда отпускал в лес на охоту, на рыбалку. Поэтому я, независимый ни от кого, больше находился в лесных дорогах, ночевал у лесных костров и полюбил с детства лес всем сердцем.

В этот памятный день, под вечер, Васька Ястреб прибежал ко мне впопыхах. Я колот дровишки для бани. Он еще издали закричал:

— Друг Мишка, мне назавтра фортуна вышла. Вместе едем в гурт коней да коров пасти! Лес облазим!

Я внимательно оглядел Ваську и увидел его всего сияющего, счастливого и тогда предложил ему:

— Картохи бери больше. Будем парить в камнях картоху, знаешь?

— Нет.

— Тогда, когда будем парить, сам увидишь, рассказывать нечего.

— Угу.

Васька убежал, подпрыгивая от радости.

Осень в тот год была дождливая, но теплая. Днем

погода часто менялась. То заморосит мелкий дождик, точно кто сеет его ситом, то выглянет солнце, обогреет землю, а потом снова сумеречность, дождь. Пригнали мы скот и коней на большую полянку с горушкой посерединке, а на той горушке красивая березовая раяка, и на самом пупышке три большие сосны росли. Под теми соснами развели большой костер, насобирали с полос каменных плиточек, уложили в костер для нагрева, стали яму под картошку палками рыть. Пастух, Иван Проняков, новую берестяную трубу в воде отмачивал, чтобы лучше трубила, да на нас поглядывал, подшучивал:

— Вы испекете картоху, а я ее съем, как тая баба-яга.

Ребятишки, что поменьше нас с Васькой, хмурились, картошку себе в пестерики ссыпали, на пастуха поглядывали, а пастух нос свой с синей прожилкой приглаживал, хитро улыбался да усы казацкие пожевывал. Когда жевал Иван Проняков усы, от удовольствия сопел и крякал. Труба его, новая, берестяная, наполненная водой, у сосны постаивала, а пастух на нее поглядывал и любовался.

Каменные плиты нагрелись на огне, и мы стали готовить яму для обкладывания ее плитами, а потом на плиты сыпать картошку. Засыпать землей не успели, как чей-то зычный голос заорал на всю полянку:

— Медведь корову дерет! Эге-гей! Медведь корову режет!

Мы всё бросили, побежали в угол полянки, где уже поднялся истошный коровий рев. Коровы сгрудились в кучу, мычали, рыкали, хвосты подняли, рогами землю рыли. Пастух Иван про ружье забыл,

с трубой на плече впереди всех бежит, дышит тяжело, с хрипотцой.

— У-го-го! У-го-го! Смелее, братцы, бегите! Озорует зверь! Мне опять головоческа от мужиков, не углядел. . . — кричал, сопел Иван Проняков и все бежал, а как прибежал в гущу коровьего стада и с полного разбега, ничего не соображая, приблизился к медведю, и почал его своей берестяной трубой по голове бить, да так, что лыко распустилось.

Медведь в обеих лапах держал годовалую нетель Васьки Ястреба, а как почувал удары, повернулся, корову выпустил и Ивана хватил, да так, что у него из носу кровь побежала. Несдобровать бы Ивану, помял бы его медведь крепко, но тут за него вступился бык сельского земельного уполномоченного Трошенкова. Бык был увесистый, упитанный, с большими прямыми рогами. Он загнул верхнюю губу, заревел и, опустив голову, с яростью бросился на медведя.

Увидев кровь на лице у пастуха, подпаски метнулись кто куда. Васька Ястреб залез в высокую ель и там плакал во всю мочь. Зойка сидела на крыше зимника и вся дрожала, я лежал на сеновале и тоже, плача, наблюдал, как бык дрался с медведем.

Вот медведь нанес быку удар передней правой лапой, но бык ловко отвернулся и с глухим ревом бросился на врага, но тоже промахнулся, проскочив мимо медведя. Медведь встал на задние лапы во весь рост и с каким-то свистом и шипением пошел на быка, размахивая обеими передними лапами. Бык не уступил и с ревом шел навстречу зверю. Отворачивать ни один не думал. Сошлись, почитай, рядом, бык весь ощетинился, медведь выпрямился, а глаза

у обоих горят. Бык ревет, медведь рычит — жутко слушать. Тут медведь изловчился и полоснул быка по правому боку. Бык взревел, замотал головой и попер прямо на медведя, так что прижал его к кустам ольшаника. Медведь стал отступать, пятясь задом и увертываясь от бычьих рогов.

В это время кто-то с перепугу закричал благим матом:

— Ура! Наша берет! Ура! Дядя Степа с ружжом бежит, а за ним Васькин отец с рогатиной! Ура! Лупцовать будут!

Видя поддержку, мы повскакали с сеновалов, вышли из укрытий, с неистовыми криками бросились за бегущими на медведя мужиками. Но все мы напрасно торопились. Бык изловчился, приподнялся на дыбы и прижал медведя к серому камню, вонзив ему в брюхо свои острые, крутые рога. Так он продержал его на рогах минут пять, потом освободил их, мотнул головой, как бы сказывая: «С этим покончено», и пошел прочь.

Я подбежал к медведю. Он лежал мертвым. Васькин отец, наступая на пастуха, кричал на него:

— Ружжо у тебя аль бабье помело?

— Кочерга, — вмешался в разговор дядя Степа. — Если б у него было ружжо, стрелял бы... а? Разнехристь экий! Сормил телку медведю. Теперь кланяйся быку...

Пастух самоотверженно выдержал ругань, молча поклонился мужикам и, не сказав ни прощайте, ни до свиданья, пошел в деревню. А мужики наши в тот год наняли другого пастуха. Иван не явился.

Но и мы пареной картошки тоже не поели.

ОХОТНИЧКИ БЕЗ ПРИЗВАНИЯ

Привязались как-то ко мне руководящие работники тутошнего леспромхоза. Своди да своди их на охоту. Я по своему характеру не мог отказать и пригласил их в выходной день в большие Варваркинские леса, что повыше заповедника.

Рано утром вся почтенная охотничья братия подъехала к моему домику на маленьком козлике. Тут был сам директор леспромхоза Хрустов, с ним инженер Снежков да лесничий Вологов. Все они были одеты по-заправскому и походили на стоящих, добрых охотников.

Кое-как мы впахались в нутро козлика. Едва тронулись с места, как лесничий Вологов завопил:

— Эй, охотнички! Собак-то позабыли! Эй, шофер! Делай остановку!

Больше получаса было потрачено на поиски собак. Вологов, так тот круто разыскал своего кобеля Дергача, а вот Снежкову пришлось побегать. Свою Белиберду, упитанную и вислоухую, темно-пепельной шерсти собачонку, он нашел на чужом подворье у сторожа лесопилки. Там на задворках сторожки Белиберда доедала дохлого козленка. Огрев несколько раз собаку, Снежков взял ее на сворку и с остервенением впахнул в машину. Семейка прибавилась. В кузовке сидеть стало тесно, попахивало собачиной.

Езда по узкой дорожке в лесу была качкой в море. Вилась она по косогорам, по бугоркам, и машина ныряла и качалась, что дитячья зыбка. Получше стало,

когда мы выскочили за колхозные поля и полянки и вклинились в лесные угодья. Тут я велел остановить машину и первым вылез из кузова. Следом за мной потные, что в бане выпаренные, вышли Хрустов и Снежков.

Собаки заохотились и рвались с поводков в лес, но их пока хозяева не отпускали.

Машину оставили в перелеске около вырубки, а охотничья компания направилась прямо по чапыжнику в государственные леса, на просеку, которая должна была привести нас к Варваркинским ключам.

Молча прошли колхозные лесные угодья. Никому не хотелось разговаривать. Грустную картину представлял собой лес — поваленный, не убранный, изувеченный неумельцами лесного хозяйства. На колхозных вырубках, одиноко раскиданные друг от друга, стояли сосны-великаны и мыкали горе. Там, где была рубка, места были так захламлены сучьями, вершинками, валежником, что приходилось их обходить. Поряду с вырубленными кварталами виднелась гарь. Она тянулась на несколько километров широким коридором, и была черна там земля, как осенняя ночь. Летний пожар прополосовал всю эту лесную ширь и оставил позади себя обгорелые пни да груды почерневшего от дождепадов пепла. Оглядывая все это, я думал, что вряд ли в этих местах снова появится лес и земля наденет на себя зеленую шубейку.

Минуя колхозные угодья, мы вышли в березник, который окаймлял большой лог. Закурили, перекинулись незначительными словцами о худых дорогах, о хорошей погоде и пошли дальше.

Спустившись в лощину к распаду ручья, мы остановились посоветоваться, как лучше облазить весь березник. Мы надеялись, что тут должны быть зайчата. Я посоветовал охотникам перешагнуть врассыпную эту райку, и если собаки не поднимут косога, то идти прямо к ляговинам Варваркинских ключей и покружиться вокруг бочагов.

И только мы хотели расходиться, чтобы пошуметь райкой, как в это время Дергач крикнул и залился непомерным лаем. Тот лай трескотком пошел по всему полесью. Следом за Дергачем негромко залаяла Белиберда и понесла свой тонкий голосок подле опушки райки. Охотники мигом разбежались и встали вокруг березника. Боясь заружиться, я отошел от них на почтительное расстояние и вышел на пригорок в березниковую молодь, зная, что именно здесь побжит заяц, скрываясь от собак.

Вологов стоял у ручья. Ему не терпелось скорей увидеть зайца и бабахнуть из тулки. Стрелять он мог и на дальнем перешейке, тут у него не было промахов. Случилось один раз Вологову убить зайца за во семьдесят метров, долго после этого хвастался:

— Вот как надо стрелять. . .

Но на этот раз ему не повезло. Заяц, как на грех, на него ни разу не выходил. Он крутился около Снежкова и Хрустова. Но и те, как видно, его не видели. Зайца скрывал чапыжник, который разросся у опушки леса. Наконец Вологов не выдержал, бросился наперерез собачьему гону. Бежал, как видно, бойко. Я видел, как он, ударившись головой об осину, упал и выругался:

— Не на ту ногу встал. Не везет мне сегодня.

Проговорил и поднялся. В это самое время он увидел прямо перед собой зайца. Серяк, очевидно, заметил Вологова, оторопел и сначала растерялся, а потом встал перед ним на задние лапки и захлопал ушами, будто подсказывая Вологову, чтобы тот стрелял. Но лесничий не стрелял, стрелять ему было не из чего. Его верная тулочка во время бега по чапыжнику попала между двух лесин, и он сам же ее согнул кочергой.

— Смех-то какой, господи, — шептал Вологов, сунув стволину между лесин, чтобы выправить ружье. Но разве тульская сталь мягка? Согнуть ее Вологов согнул сгоряча в погоне за зайцем, а вот разогнуть не мог. Как он ни бился, а силы у него не хватало. Заяц вторично пробежал поряду с Вологовым, как будто насмехаясь над ним, и вскоре пришел на меня. Я выстрелил, не торопясь поднял зайца за задние лапы, закричал:

— Есть поле!

Взял зайца и пошел на голос Снежкова и Хрустова и тут набрел на Вологова. Он сидел под осинкой и ругал себя, не преминув при этом вспомнить всех дедов и прадедов.

— Чего ж так брехаешь? — спросил я у него.

Вологов встал, отдышался и как будто стал мягче:

— Да вот ружье, тулочку свою, кочергой сделал. Подсоби, братец ты мой, ее выправить. Страсть как не люблю спозаранку с охоты возвращаться.

— Дорогу торят ногами, а не ружьем, — заметил я ему и помог кое-как выправить тулку. Вологов умиленно хихикнул, крикнул Снежкову:

— Давай, братан, продохт, который покрепче. На крови нужно горло прополоскать.

Пока Хрустов развязывал рюкзак, доставал вино, Снежков выстрелил. Большая сова упала прямо к моим ногам. Я поднял ее. И мертвая она была красива. Большие крылья, мягкая одежонка с серыми бусинками. А глаза? Они были открыты. Из совиных глаз выкатилась чистая слеза. Я не стерпел и, повернувшись к Снежкову, попенял на него:

— У тебя не охотничья совесть, товарищ Снежков. Какой тебе прок от совы?

— Развлечение, — гордо ответил Снежков. — На лету бил, вот и тоже стал с полем.

— Не с полем, а с горем. Ты помогаешь мышам совать нос в колхозное жито.

Дальше разговор не клеился. Чтобы развеять неприятное отчуждение, я посоветовал сделать привал на обед.

Отойдя метров семьсот, мы наткнулись на чистый ключ и, разложив огонь, стали навешивать на таганчик чайник. Пока грелся кипяток, разговоров тоже не было. Все были в каком-то непонятном настроении. Снежков замкнут. Хрустов про себя посвистывал. Вологов сидел насупившись. Когда кипяток согрелся и суп из мясных консервов сварился, я подал команду:

— Равнение на котелок, кто ложку с собой приволок. У кого нет ложки, пусть хлебает долбенкой или березовой плетенкой!

Но ложки у всех нашлись. Из рюкзаков было вывалено на газету содержимое. Тут были куски колбасы, сыр, масло, перец, горчица, лавровый лист и вся-

кая прочая продуктина, необходимая охотнику для утоления жажды. На импровизированном столике появились стопочки и настоящая охотничья водка.

— Хряпнем по единой для успокоения совести, — пробасил Вологов, улыбаясь. При виде водки он прямо-таки преобразился и уже забыл о тулочке.

Но Хрустов ему напомнил:

— Такую охотку не зальешь водкой.

Вологов развел руками:

— Как в псалтыре. Вот те крест. Кто о чем, а Хрустов о еси. . .

— Ну и черт понеси, — пропел Снежков, наливая водку.

Но выпить охотничкам не пришлось. Из-за Снежкова с лаем прыгнул Дергач, залилась Белиберда. Снежков поставил водку, причмокнул:

— Чего это они? Может, рассердились, что охотники о них забыли, даже корочки хлеба не дали. А ну, Дергач, к ноге!

Но Дергач залаял еще сильнее, ему вторила Белиберда.

— Да никак собаки постороннюю кость учуяли? — проговорил Вологов и хотел подняться, чтобы идти поглядеть, на что же так собаки зарятся. Но он не успел подняться, как из-за бочага, хлюпая водой, вышел молодой мастер леса, Окинин. За его плечами Вологов заметил двух глухарей и зайца. У Вологова даже дух захватило.

— Вот это да-а, — прошептал он. — Вот это поле.

Заметил это и Хрустов. Рукой поманил Окинина:

— А ну, ходи сюда, молодость! Не брезгуй стариками.

— А что мне брезговать, — с улыбкой ответил Окинин и поздоровался с нами.

— Каким путиком шел, что видел, кого встретил и что заметил? — спросил я мастера леса.

Окинин головой тряхнул, кудри разлетелись, глаза весело сверкнули.

— Где шел, там след, но меня уже нет. Видел три выводка с копылухами вместе, двух от одной отнял. Видел маленького лосенка, поздоровался. Вот и весь мой сказ. А как у вас?

— Да не очень-то складно, — ответил я. — Все ж опоилились.

— Одного зайца на четверых? — Окинин изумился. — В таком лесу не увидать лису... Мало, мало, почтенные.

Хрустов встал на колени и, опершись руками о зеленую шубейку земли, заговорил:

— Выпьем за тех, кто встает раньше всех.

Я поглядел на Окинина:

— Давайте и вашу стопку.

— Я не пью, — ответил Окинин. — С детства винный запах не перевариваю.

— А ты, мастер, не переваривай, а пей. Пей, раз компания просит, — говорил Хрустов, поднося к губам стопку.

— Я же непьющий, — повторил Окинин.

Вологов жирно рассмеялся:

— Непьющих мастеров леса не бывает. Курица и та из лужицы попивает.

— Ну и пусть себе пьет, а я не буду, — твердо ответил Окинин. — Отец у меня был непьющий, то и мне в наследство оставил.

Разговор прервала Белиберда. Проголодавшаяся собачонка стала шарить около импровизированного стола, на котором стоял котелок с супом, и, задев его шерстастым хвостом, опрокинула, разлив всю похлебку. Хрустов выругался. Вологов вскочил с места, поймав собаку, ударил прутиком по спине, а Снежков горевал, что такой наваристый суп прорва выплеснула зайцу под хвост. Но тут сразу же не своим голосом заорал Снежков на Дергача. Я повернул голову и увидел, как Дергач, держа в зубах круг колбасы, пятился задом в куст можжевельника, а когда Снежков вскочил, чтобы вырвать у собаки колбасу, Дергача и след простыл. Белиберда жадно долизывала разлитый ею суп.

Посмотрев на эту историю с обедом, Окинин улыбнулся, надел на плечи рюкзак, откланялся и ушел по своей тропе.

Снежков налил в стопки водки и, подавая Вологову, проговорил:

— Во здравие тех, кто радуется тому, чему я не радуюсь.

Оба залпом осушили стопки, потом Вологов растянулся на земле у столика и запел надтреснутым голосом:

Шумел угрюмо Брянский лес...

Старого югозерского охотника Сергея Панфиловича Умрихина я застал на берегу озера Малая Сойда. Он сидел на травянистой кочке и вел рассказ. Вокруг старика в разных позах лежали молодые рыболовы — школьники. Зореванье давно уже прошло, лов кончился, уха съедена, костер чуть тлел слабоватым блеском. Шел тихий да свежий вечер. Старик рассказывал негромко и все время поглядывал на ребятишек. На его голове, словно на припечинке, светилась лысинка. Так и хотелось подойти к нему да погладить эту обиходную голову.

— Так-то, сват-брат, на чем я остановился? Ах, да, на лосях. — Старик поправил серебром отлитые усы. — Было у меня дельце из рук вон выходящее. Памятное потому, что я видел смех и горе.

Ребята сомкнули кольцо вокруг старика.

— Сочинилось оно в теплый июльский день. В лесу стояла сухая жара — спасенья от оводов не было. Я с ночи сидел в лодчонке посреди озера, а к берегу притулиться боялся — овод мешал. После полдника замечтался и заснул. Проснулся, сват-брат, вовремя. Моя лодчонка от чьего-то удара чуть не перевернулась, да я вовремя на крыло встал. И что же я вижу? Подле меня плывет и фыркает, фыркает да плывет матерый лось, а рога у того лося точно на подбор, широкие, ветвистые — можно много к ножам черенков смастерить иль там к бильярду шаров наточить. Плывет этот лось вдоль озера и хочь бы что!

Я поднял свое грузило, что держало на приколе лодчонку, следом за лосем направление взял. Подпустил близко. Плывет животина себе вперед и на меня озабоченно поглядывает. Жалко стало. Весла положил в лодку, чтоб ненароком не ударить ими лося, подплыл к нему совсем близко.

Наверное, животина уставать стала. За рога лосиные, сват-брат, хочу дотронуться — не дается, головой крутит, фыркает. Животина могучая — поди, пудов пятнадцать будет. На воде-то ему потяжче, чем на суше, устал, тяжело задышал. Я ему и говорю:

«Пойдем на сворку?»

Лось и глазом не моргнул. Я подплыл и на рога веревку по-казахски набросил. Сначала лось испугался, замычал, а я ему:

«Нет, не мы, а я; держись, дурень, моего совета!»

Решил к берегу править, а он и в ус не повел — отмахивается да вдоль озера мою лодчонку тащит. Тогда я натянул правую веревку, что вожжу, и кричу:

«Коняга, ась!»

Сдался на мою милость. Повернул вправо. Так я сажу в лодке и ухмыляюсь, а лосем заправски правлю, то влево, то вправо, а то и прямо. Правлю я, сват-брат, а сам думаю: «Замучаю в воде животину, с говядиной буду, да братьям помаленьку дам, из кожи сапоги с натягом сошью, хворсить стану». Хоть и нет со мной ружьишка, а лося я решил одолеть.

Сажу в лодчонке и управляю лосем, что кобылой. Уморительно, на душе спокойствие. Крикнул братанам, чтоб встречу на берегу организовали, а сам за краюшку хлеба взялся. Сажу и ем, а лось фыркает да на меня исподлобья поглядывает. На воде мелко

держится — вся спина на виду. Спина широкая, мясистая. Вот, думаю, славная говядина. И смекаю, что себе взять, что младшему брату Гришке дать, а что середовалому Митьке в ведро кинуть.

Так я с ним мучился часа полтора, сам уморился, а от лося не отступился. Животине надоело мое самоуправство — слушиваться стал. Я лося повертываю вправо, а он норовит влево. Я ему кричу:

«Куда плывешь?»

А он мычит, фыркает, будто ругается, на меня свой глаз пялит, а глаз-то стал красный, что фонарь.

«Н-но! — кричу я животине. — Давай прямо к берегу».

А лось плывет себе да плывет по выбранному им маршруту и на плаву даже тростник срывает. До окрайка озера недалеко осталось, а я устал. Сел в лодку и опять за хлебушек взялся. На животину поглядываю да хлебец поглатываю. Вижу, на берегу мои братья стоят, языками причмокивают — радуются, дураки. Гришка кол в руках держит — аршина четыре будет, а Митька с топором.

Но как только лось почувал близость берега, круче пошел — проворней да поворотливей стал. Лодка прытче запрыгала на воде. Я стал ближе к лосю подвигаться да братьям покрикиваю:

«Животина здоровенная — бить по голове надо, в проушины. . . В проушины между глаз. . .»

Но лось, как только ногами нащупал озерное дно, рванул с силой. Я что тарелку шей пролил, в воде оказался, головой ила достал. Пока то да се, сват-брат, а лося и след простыл. Братьев на берегу тоже нет. Я в воде барахтаюсь. Кричу, о помощи зываю.

Митька выбежал из лесу, впопыхах шест мне кинул да в зубы угодил, кровь пошла. На берег выплыл и кое-как одежонку вымыл, потом высушил и все прочее. Так вот как было, сват-брат.

— Лось-то, дедушка, все еще с лодкой в лесу бегает? — спросил кто-то из ребятишек.

Старик не обиделся, лысину погладил, улыбнулся:

— Конечно. А где ж еще ему быть, как не в лесу. Поглядеть хочешь? Пожалуйста. Выйди в жаркий полдник к озеру, что в ложине спрятано, лось-то и пожалует к тебе на смотрины. Там он от оводов да от мух спасается.

— А как дело с лодчонкой?

Старик вздохнул. Видно, что лодку он жалел:

— Разбил, стервец. В щепки. Как выбежал с ней лось на зимник, так лодка между лесин попала, разлетелась, не соберешь. После ходил я смотрины делать, да что — черепки да щепки, щепки да черепки. Одни уключины железные выстояли.

КРЫЛАТАЯ ЩУКА

После сытного ужина дедушка Сергуня достал из штанов самодельную берестяную табакерку, не спеша открыл ее, взял щепотку нюхательной вони, заштукатурил обе ноздри и, что хороший насос, вдохнул воздух, зарделся, потом троекратное самозабвенное чихание покатилося по кругу охотничков.

— Добрый табак, славная понюшка, — проговорил дедушка и снова чихнул, но уже с выдержкой, смачно, прокряхтел: — Добро берет, достает аж до печенок.

Кто-то из охотников попросил дедушку рассказать им что-либо из охотничьих «выжимок». А выжимок у Сергуни хоть отбавляй. За его спиной сорок лет промысловой охоты, и вот уже двадцатый год он числится на Андомщине егерем первой руки. Много видел дед. Большой он знаток лесной кладовой, а малоразговорчив. Не всегда его заставишь говорить. Если к слову придется что-либо занятное, почнет рассказывать, и тогда унять его трудно: говорит, говорит, и все с присловием — простое умножение. Бывало, слушаешь деда и диву даешься — откуда у него такие слова берутся? Сам он невелик, не широкоплеч, руки синежилые с мозолями, а язык остер что коса.

— Так на чем я остановился? Ах, да, на рыбачьих безделушках, — начинает свой рассказ Сергуня. — Блесна не всяка идет к щуке. Вот поделка из белой меди — это да. На нее в реках сильнейший клев.

В озере кофейная вода, и блесну надо подбирать по цвету воды. Тут больше подходит поделка из красной меди. Заводской работы блесен я не покупаю и их не обожаю. Простое умножение. Надо деньги, а где мне их взять, коль не всегда в заработках. Я за- всегда свои беру, по воде, по цвету подбираю. Рыба, она с глазом, любит неподделки. Бывало, закинешь блесну в озере из заводской работы, то рыба от нее в стороны шарахается — видит, что, того-этого, простое умножение, а коль пойдет своя, самодельная, сама рыба на крюк лезет.

Сию как-то раз я подле тростника да потихоньку вылавливаю окушков. Клев превосходный. Окушок клюет, что плотва, прожорливо. Так вот, значит, сию, курю, ловлю, а зорька идет, точно пава в багрянцевом наряде, засмотришься. Смотрины длятся недолго. Глянул на воду, и ноги у меня запередергивались, затряслись, что лихорадочные. Сердце к горлу приступает, провздохнуться не можно, а как провздохнулся — вижу: необычайное существо плывет по воде рядом с тростником и как будто помахивает крылышками. Простое умножение, думаю, не выдра ли? Нет, таких не видал. Не ондатра ли? Тоже нет, больно длинна. Подраненная птица? Тоже не похожа. Потом все исчезло, а на воде только пузырьки плавают, тростник качается, перешептывается, будто смеется. Клев после этого сразу же прекратился. Пришлось перебазироваться в другое плесо. При переезде с места на место я завсегда разматываю дорожку с блесной из красной самоварной меди.

Простое умножение. Распустил дорожку, легко прошумел веслами и, только стал подъезжать к при-

колу, к тростниковому островку, как — шась, и пет зуба.

— Кто ж его вырвал? — не удержался кто-то, спросил.

— Коль распущу блесну, то конец лески я всегда беру в зубы для лучшего прочувствования. Простое умножение, жилка — вещь благородная, чувствительная. Бывало, мелкий окунишко заглотит блесну, мой зуб уже слышит, передает в голову, а та знай ворочает мозгами да приказывает работу. А тут вылетел зуб, да еще не ржавый. Плотно сидел на месте. Сильный был рывок, хлесткий. Сплюнул я зубью кровь, взял конец лесы в руки, а потом обмотал ее к кормовой упряжке, а сам стал пробовать — натягивать. Делаю натяг на себя. Жилка поддается. Скручиваю и делаю натяг снова, чую — что-то тяжелое следом ползет. А что? Понять не могу. Не то топляк со дна, не то запутавшаяся сеть, брошенная рыбаками. Подтаскиваю ближе. Всплывает из воды что? Страшило, не то осьминог, не то сам водяной черт, сверху весь черный, будто дегтем вымазан, а напереду что-то сереет, будто девичья оторочка на нагруднике. Вижу, страшусь, но тяну и тяну леску к себе.

— Ну и что же дальше?

— А дальше? Простое умножение: один на один будет тоже один. Близко я ту ношу к лодке подтянул и думал ее внутрь перевалить, как, этого-того, хвостом по воде — жмах! И снова в озеро ушло. Черт бы его побрал! Снова подтягиваю, но уже с умом. Подтягиваю и накручиваю лесу на кормовую упряжку — тут, брат, с нее не снимешь, не ускочишь, а на лесу я надеялся — толстая, вытерпит, не лопнет. И правда,

не лопнула. Когда я подтащил чудище снова к лодке и вместе с водой перевалил его в лодку, то не испугался, а обрадел и даже расхохотался. На хребте у громадной щуки сидел матерый ястреб. Видно, он ту щуку укараулил на мелководье — и — шась ей когтями в захребетник. Когти впились, влипли, а щука в то время возьми да и нырни под воду. Там ястребу захлеб пришел — смертушка. Вот какое простое умноженне.

Кто-то не поверил в это, проговорил:

— Наверно, врешь, дедушка?

ДВА УДОВОЛЬСТВИЯ

— У меня и такой случай был.

Дедушка Сергуня снова достал из табакерки понюшку табаку и, затянувшись ноздрями, чихнул раз и два. Потом вытер под носом задубленные усы, от удовольствия чмокнул с присвистом, продолжал:

— После Успенья на утиную охоту пригласил меня симпатяга инженер с аэродрома. Шла война. Корма было мало, а тут он — звали его Василием Петровичем — ко мне в дом зашел, чайку с напойку принес. Моя Праскушка согрела самовар воды, я чаек заварил — славно попили. Опосля чаепития вышли из деревни Куфтыревской прямо к пойменным местам реки Волошки. Дорога — хочь бы что, простое умножение, утопанная, будто в городе тротуар блестя издает, и так виляет, так виляет — до невозможности! Мы взяли напрямик, через лес, да попали в полосу бурелома и — будь ты неладное — я все штаны заваксил да в двух пущих местах дыр понаделал. Трудная дорога, хотя и прямая. Скачешь с валежины на валежину, обходишь крутые сломы, пересиливаешь громадину выскырья, потеешь, сопишь, а идешь: не ночевать же тут, в буреломе-то.

К полднику выбрались на березовую полянку, а тут и Волошка-речка. Василий Петрович меня и спрашивает:

«Что, мил человек, где паужнать будем?»

«Простое умножение, как прикажете», — отвечаю я и иду себе по узкой тропинке к речному пе-

реходу. У перехода останавливаюсь, гляжу на Василия Петровича, а он сбросил в отаву свой вещь-мешок с продухтом, в руках ружье на изготовке — и шась в пригибочку, в наклоночку да по бережочку. Примечаю и я... Поряду с переходом камыш растет, колышется, слабо тренькает, будто к песне приглашает. В середине реки камыш расступился, воде дорожку дал — тоже припечинка. На этой припечинке кавалер в мундирчике плавает, а на голове у него гусарский картуз — влиятельный. Чудно. Плавает в закруги на припечинке и песенку напевает: «На-а-шш... Ва-шш... Не подой-дешь... Вре-е-е-шь...»

Я быстро перескочил реку и тоже в наклоночку, тихонечко, по-лежачему, на животе пополз, а ружье в руке, кавалерчика на мушке держу, сам разомлел, разохотел. Штаны на коленях смочил, живот глиной замазал — и хочь бы что. Вперед и вперед, а кавалерчик все на мушке сидит и вдруг... пропал, исчез, что сквозь воду провалился, только на воде в той припечинке одни кружки остались. Я встал, огляделся. Петровича зараз не увидел, а вижу: на середине той припечинки, где купался кавалерчик, что-то белеет. Подошел ближе — и что вы думаете?

— Подсадную увидел?

— Нет. Большая щука лежит вверх животом, а весит она примерно кило на восемь. Одним словом, полпудовица лежит. Я в ту минуту младенцем стал. Разулся, сапоги, пестрядинную рубаху, порты с себя снял и в реку опустил. Подошел к той щуке — и шась ее на руки. Славная, думаю, из нее уха будет, наваристая. Жаль, что перца да лаврового листа нет — на гобце в доме забыли. Но... хотел крикнуть

Петровичу на радостях: «Огонек разводи, мол, батя анжинер, котелок навешивай, уху будем варить», как в это время громадина разом встряхнется, пружиной метнется — и в тростник, поминай как звали. Вот как было. Василий Петрович на берегу стоит, смеется:

«Умная тварь. Сглотила утку, да желудок не по утке, задохнулась, вот и перевернулась».

«А почему спружинилась да убежала?» — спрашиваю я и с остервенением выжимаю подштанники.

«Потому что, покуда ты держал щуку в руках, ее желудок принял в себя утку, и она задышала». •

«Понятно, — я тоже улыбаюсь. — Двойное удовольствие. Щуку с уткой в руках подержал и славно искупался».

НА ШУЛТУССКОМ ОЗЕРЕ

1. Настоящий характер

Аверьяна Кирилловича Шахова, сына первого председателя первого комбеда, Кирилла Петровича Шахова, на этот раз я застал у себя в доме. У порога избы меня встретила Стрекоза — шустрая собачонка из породы сеттеров. Она, виляя шерстастым хвостом, взвизгивала, что ситец рвала. Хозяйка Матрена самовар водой наливала, мне шептала:

— Мой-то Аверя, как стеклышки на верхотуре установил, день-деньской наблюдения ведет. Кто его знает, — вздыхает Матрена, — может, и взаправду ему приказано всех ершей в озере сосчитать да по начальству доложить. Тоже себе рыбнадзор. . .

Не задерживаясь, я снял с плеч берестяной пестерик, прошел в сени и, поднявшись на веранду, сразу заметил старика. Он умиротворенно сидел и в самоварную трубу разглядывал большое озеро.

— Аверьян Кириллович, мое вам почтение. . .

— Ась? — Старик вскочил, взлохматил седую бороду, пряди разлетелись в стороны, ответил: — Доброго добра. С дорожки чайком, поди, хочешь побаловаться.

И, не дожидаясь моего ответа, открыл в полу отдушину, крикнул в ее оконце:

— Матреша! Сготовь для гостя чайку побольше!

— Чую, Аверьянушка, чую!

Аверьян Кириллович на трубу показал, с уважением проговорил:

— Лаборатория. Все видит, на стеклышках все обозначается. Поди ж ты! Озеро в длину двенадцать километров да в ширину десять — глазом не взять, а поглядишь в стеклышко — и все тебе на блюдечке подается. Каждую приметину видишь, каждого разбойника найдешь. А их теперь развелось уйма. Пока озеро было бесхозное — рыбаки были степенные, каждой мелюзгой дорожили, а как озеро в государство перешло да меня рыбнадзором затвердили — воруют рыбу, да и баста, особливо браконьерствуют деповские. Тол достают, известь негашеную в бутылках в воду бросают, аммональничают. Ты печешься, печешься, лекции да нотации деповским читаешь, а они хочь бы что, паясничают, браконьерствуют и на законы плюют.

Аверьян Кириллович поглядел в трубу, выпрямился, головой тряхнул, простонал:

— Опять в Черном плесе балуются. Видишь, сколько дыму напустили? Аммональщики. . .

Я подошел к самоварной трубе и поглядел в сторону озера. У островка, что зарос сосняком, вился дымок. Он застилал прибрежный тростник. Я хотел что-то спросить у Аверьяна Кирилловича, повернулся к нему, а его и след простыл. Поглядел в стеклышко трубы. Прямо передо мной в направлении дымка быстро скользила лодка, а в ней маячила семафором красная рубаха Шахова.

— Ох и даст опять деповским жару! — гомонила Матрена. — Ох и даст. . .

Через полчаса вернулся Аверьян Кириллович, потный, возбужденный. Следом за ним в избу вошли три рыбака. По одежде было видно, что деповские: все

рибуши в мазуте, фуражки с околышками, что у заправских машинистов. Несмело на угол посмотрели, меня глазами умыли. Аверьян Кириллович на стол ведерную бадейку поставил, рукой ковырнулся, мелюзга на стол посыпалась. Он с раздражением проговорил:

— Рыбу аммоналили, беззаконники. — К рыбакам повернулся. — Видели ли вы, как чиста вода в нашем Шултусском озере? Видели. Ну, вот и похвально, что заметили. На целом свете оно одно — чистое, неглубокое, просторное и рыбное. С исстари его любят. А вы вот пакостничаете. — Аверьян помолчал немного, смахнул со стола мелюзгу рыбу, спросил: — Квитанцию на штраф сейчас выписывать аль через милицию?

2. На вечерней зорьке

У Шултусского озера, что расположено в двадцати шести километрах от города Няндомы, в тринадцати километрах от тракта Няндомы — Каргополь, было пять дочерей. Речки Иласега, Черная и Пойменная поили озеро своими светлыми водами, а речки Нименьга и Шултусиха собирали все пойменные воды, захватив с собой лишнюю шултусскую воду, и сплавляли их через богатые известковые увалы, первая — в Волошку-реку, а вторая — в Черные озера. Благодаря этому в Шултусском озере вода всегда стояла на одном уровне, а если и взбаловнет, то только в апрельское разводье. Озеро неглубокое. Самая большая глубина в Студеной курье доходит до трех метров, а дальше по всему озеру метр и два, а то и мень-

ше. Озеро чистое, без задевов. Тростника много по ветру шепчется. Тростник там густой, косяками да островками от берегов тянется, а то и посередке озера разляжется, нежится — там утиные гнезда бывают. Не увидишь — не сглазишь.

Посередке озера островок что гусиное яйцо. В старину этот островок был запретный для рыбаков. Туда допускались только «непорченные». На пригорке островка, рядом с березовой райкой, стояла трехглавая церковь с позолоченными куполами. Церковь хоть срублена одним топором, а, дьявол, красива была — загляденье! Вот что значит мужицкая работа. На время служения верующие с деревенских берегов на остров плоты перекидывали и по ним проходили. По крайней мере так говорят старики, я не видел.

Сейчас этот островок для любителей-рыболовов базой стал, курортным местом отдыха явился. На него в теплые летние вечера после зоревания собирается столько рыбаков, что для каждого деревин не хватало, чтоб рюкзак повесить и самому притулиться.

В развилку тростниковых зарослей мы с Шаховым приехали на лодчонке в то время, как весь остров да прибрежные тростники были оцеплены рыбаками. Тишину нарушали нечастые всплески волн, неясный говорок рыбаков. Слышали мы с Аверьяном Кирилловичем, как в зарослях тростника кто-то кричал: «Тэк... тэк... тэк...»

На этот голос отзывался другой: «Квэ... квэ... квэ...»

Потом эти звуки сменялись тихим жвяканьем, и в камышах раздавались всплески воды и чистое: «Трль... трль... трль... ноль... ноль... ноль...»

Зорька была тихая да теплая. Далеко в вышине неба появился месяц и заскользил своим светом по верхушкам леса, освещая серебристо-голубой наряд березовой рощицы да краснотельные стволы с золотистой кожурой сосен.

На берегу островка запылали костры.

— Эге-гей!

Вечером эхо летит далеко-далеко, а по воде, словно колобок, без остановок катится до самых пойменных мест, а там зайдет за горушку и замолкнет.

Очень приятно.

ЗА СУДАКАМИ

Тихи летние вечера в Прионежье. Кондовые леса окружают озера, а от берегов рек поднимаются за сопки урема. Озера в лесах не широкие, не глубокие, а рыба в них водится всякая. Есть пятнистый да черный окунь, подъязок, язь, лещ, серебристый голавль, щука, налим, полосатый судак, а в порожистых речках с ключевой водой водится форель-неструшка да лосось — благородная рыба.

Придешь на берег реки на заре красной. Сядешь за плакучими ивами иль в густом черемушнике, забрасываешь в реку лесу, глядишь за поплавком да слушаешь, как поют речные пороги. И только еще скрылось солнышко за лесочком, как на воде начинают рыбы играть. Бисерные брызги летят по сторонам, рыба в пляс пошла — клев начался. И некогда тебе в то время разными думами заниматься, а все твои помыслы направлены на рыбий взлет. Едва успеваешь подсекать рыбу, такой клев разгорается, что душе приятно и на сердце легко.

А когда клев прекращается, прислушиваешься, как лес шумит. Вечерком после зореванья костер разожжешь под сосной лапистой, да такой яркий, что весь берег освечивает. Дышишь полной грудью, свежим речным воздухом. Легко, приятно, и полное тебе удовольствие.

Каждый свой отпуск мы с токарем колхозных мастеровских Матвеем Приемышевым на озерных да речных берегах проводим. Удовольствие получаем и здо-

ровья набираемся да попутно и бодрость прихватываем. Сегодня первый день нашего отпуска, а мы с Матвеем уже устроились на берегу в Ялегской протоке, неподалеку от большого Онежского озера. Место здесь низменное, кудрявое, зеленью покрытое. В водоразлив все пожни вода заливаает. Трава на лугах выше пояса, сочная и вся в цвету. Куда ни глянь — всюду ромашки, дрема, клевер, незабудки, донник. Кругом пахнет медом да всякими пряностями.

На этот раз я выбрал место на штабеле леса, что остался в речной бухточке от прошлогоднего сплава. Комаров в этом месте не занимать, тьма-тьмущая, но свежий ветер отгонял их. Сам Матвей сидел неподалеку от меня в густом ольшанике, который ему служил укрытием от комариного нашествия. Если б не лесозащитная полоса, то быть бы Матвеем без носа. Комары любят мясистые носы с горбинкой на перевале около глаз.

Река Андома в этот час была чиста. Спокойно и медленно катились воды в онежское озерное устье. Солнце скрылось за ближним лесом. Рыба вышла на кормежку. То тут, то там вода бисерилась, волновалась, раздавалась в брызги. Рядом со мной в сочной густой траве закричал коростель — предвестник ночи. Замолкли, не цикают лесные пичужки. Защелкал ночной соловушко разудало и ошалело, с причудами. От Ялегского озера, где узкая протока соединяет озеро Ялега с рекой Андомой, доносился утиный пересказ: «Фю-ють. . . фю-ють. . . фю-ють. . .»

Скоро на землю и на реку опустилась ночь. Поплавки на воде укрылись в темноту. Матвей развел

костерик в облюбленном месте, а когда заиграл огонек, я подошел к нему.

— Как удача? — спросил он, и в его голосе был не столько вопрос, сколько разочарование. За вечер он не выловил ни единого судака, да и мне похвастать было тоже нечем. Десяток окуней, три подвязка и некрупный лещ были в моем ведерке.

Скоро была сварена уха, оказавшаяся на редкость вкусной. Мы аппетитно поужинали и легли в мягкую душистую траву, что в домашнюю перину, на ночной отдых. Вокруг полнейшая тишина, воздух чистый, питательный.

Только-только загорелся небосклон на востоке, Матвей проснулся. Он не спеша размялся несколькими приседаниями да взмахами рук, потом стряхнул с ватника приставшие к нему травинки, подошел к реке, умылся и, вернувшись обратно к потухающему огоньку, сказал:

— Пора за дело братья. Начинается заря, починается клев. Рыба заиграла у берегов.

Поднялся и я. Матвей пошел вперед, а я за ним. Осматривая донки, поставленные с вечера, Матвей сокрушенно и с раздражением приговаривал:

— Худо дело, худо, братец, что-то заело, не за что братья. Пусто, как в глухом перелеске.

Возле куста плакучего ивняка Матвей остановился, улыбнулся, присвистнул и проговорил:

— Кажется, подвезло.

Натянул лесу и почувствовал на крюке добычу. Ударил лесой, как погонялкой, об воду. Леса вздрогнула, качнулась тихо раза два и пошла вглубь. Матвей управлял рыбиной, что конем, то ослабляя, то от-

пуская лесу и при этом не давая рыбине уходить к кусту ивы. Когда я подошел к Матвею, он улыбался. Его голубые глаза округлились, нос порозовел от избытка чувств. Обмотав лесу вокруг широкой ладони, Матвей командовал:

— Сюда, вот так! Ближе, еще ближе. . . Вот так. . . Чутьки поправее. . . Вот так. . . — И подтягивал лесу к береговой отмели, но рыбина часто его команду не слушала, а норовила уйти вглубь.

Видно было, что попала подходящая рыбина. То она вставала на дно и лежала, что камень, — ни сдвинешь, ни спихнешь, то начинала круто носиться вправо и влево, прыгала, брызгаясь водой, потом утаскивала лесу в глубину, стараясь обмануть рыбака, но и рыбак был хитер. Он, как видно, знал все рыбы повадки и управлял ею по своему желанию.

— Гуляй, милая, гуляй. Крути, только в кусты не вороти, — приговаривал Матвей и все с улыбочкой.

И, видно, настала пора — Матвей вспомнил про сачок.

— Дай-кась сачок, под голову норови, рыбина уходилась!

Я как ни старался подвести сачок под голову рыбине, но у меня не получалось. Матвей ругался на чем свет стоит. Кричал на меня:

— Разухабистый рыболов, беги за другим саком! Видишь, ежели зрячий, — рыбинская голова в этот сак не помещается.

А когда я принес Матвеев сак, то Матвей очень ловко и аккуратно оседлал рыбину и осторожно вытащил ее вместе с саком на берег. Рыбина была больших размеров. По черной полосе, идущей по всему

хребту от головы к хвосту, я догадался, что это и есть матерый онежский судак. Матвей же, радуясь, закричал:

— Вот он, наш судачок онежский! Ну, кто следующий?

Лесная урема приняла голос Матвея и понесла его через буераки, по фарватеру, по лугам нескошенным, по полям несжатым, а утренняя заря только еще начиналась. Она заметалась на небосклоне заревом пожара и охватила весь восточный склон неба. Воздух потеплел, порозовел, и над рекой встала утренняя дымка, сизая, неосязаемая. Кругом уже слышится разбуженный зарей песенный говор, а ольшаник все шумит и шумит — тихо, отдавая еще неясный, сдержанный шепот ночи светлому дню. Каждый звук на утренней заре бежит, бежит, куда-то торопится и остановиться никак не может.

В конце августа я с токарем колхозных мастерских Андреем Смекалкиным вышел на утиную охоту к правому берегу большого Онежского озера. От Андомы до Саминшины я ехал в автобусе, а от саминской деревни Димино мы вышли пешими. Дорога до первого малого озера Сайда была чистая, утоптанная, по ней часто хаживали малолетки из детского дома, что в летнее время отдыхали в пионерских лагерях на Самине-реке, подле Наволока. За озером даль была лесистая, мшистая, тропа вилась змейкой, что подвенчалное кольцо, сходилась у сопок, а там вновь распускалась, загибалась и пыреяи шла через мшаники, через березовые райки к сосновым борам. Под вечер мы с Андреем подошли к озеру. Солнце, медленно скользя по вершинам леса, уходило на ночной покой, оставляя за собой легкий багрянец, и вслед за багрянцем, точно из-за пазухи, выбегала большая луна и рассыпала свои лучи по земным владениям, осматривая и проверяя кладовую земли; боясь, как бы кто чего не стырил, она сторожко глядела на землю.

Вода плавно и размеренно то скатывалась с отлогого берегового песчаника в озеро, то снова поднималась по нему, как будто девушка делала прическу береговым камушкам, и от этого камни при луне светились, что расцвет бисера. Береговая отмель кишела косяками салаки. Далеко за тростниковыми плавнями разговаривали утки. Высокий лес разросся у самой воды, как будто преграждая ей дорогу в огненный

бор. Берег был сухой и песчаный. Казалось, не сама природа создала такое великолепие, а заботливая человеческая рука рассадилась эти сосенки в стройные ряды и посыпала между ними дорожки мелким песком, что бисерником, а от этого при луне все тропы и тропочки светились.

Прионежские старожилы утверждают, что еще в конце восемнадцатого века весь этот сосновый клин по берегам большого Онежского озера от Петрозаводска до Вытегорской росстани принадлежал лесопромышленнику Кудеярцеву, но тот был крут на руку, большой игрок в карты, и говорят, что он в одно пасхальное воскресенье так разошелся, что весь этот клин поставил на кон во имя господ бога и, проиграв ему, продал лес монахам ближнего Кэндовского монастыря, что до сих пор сохранился на побережье Онежского озера. Монастырская братия с первых лет бережно рубила Кэнду, берегла ее, аккуратно расчищала, и клин выростал, ширился, цвел. Но настоятель был человек не русский, лес его не прельщал, и сиудили деньги. Весь этот лесной кряж он, без согласия общины монахов, решил продать английским купцам. Но нашелся на Андомщине человек, который дал бы себя распять, как Иисус Христос, лишь бы сохранить Кэнду, не дать над ней посмеяться англичанам. Это был объездчик Губарев. Он сызмальства проживал в Кэнде, любил ее, берег от всех напастей. Когда он узнал, что настоятель монастыря ждет английского Стюарта, чтобы заключить незаконную сделку, то взял дробовик и без доклада вошел в келью к пресвятому отцу, игумену Акакию, и сказал ему с твердой решимостью:

— Отдам все свои сбережения, но аглицким дельцам Кэнды не отдам. Она моя, и вырвать ее из моего сердца я ни днем ни ночью, без умысла и с умыслом, никогда и никому не позволю. А уж ежели что, тогда берегись, отец святой, не гневай Христа, мною же будешь распят первым ты да иже с тобой братия твоя монашеская. Всех вас я без покаяния отправлю к самому нечистому в ад.

Настоятель монастыря слова Губарева принял за чистоту, да нельзя их было бы и не принять. Когда говорил эти слова Губарев, то руки на груди держал как клятвopиpнoшeнннк. Отец Акакий весь огненный бор продал Губареву со скидкой и даже в рассрочку. Потом как-то скоро Губарев скончался, так и не оплатив монастырю своих векселей, и вся прионежская Кэнда перешла в руки лесopомышлeнннкa Гpомoвa. Но и Гpомoв нe тpoгaл oгнeннoгo бopa, мoжeт быть зa кpасoтy любил eгo, кaк Губарев, иль смолнстый запашок привлeк eгo лyбoвь к Кэндe. В pаспaдe Тудoзepскoй бyxты Гpомoв xoтeл пoстpoнть для сeбя виллy, дa рyкн oкaзaлнсь кoрoткн. Нa пocт зaстyпнлa coвeтскaя влaсть, хoзяннoм Кэнды стaл нaрoд. Так сpeдн мнoгнх дpyгнх лeсных клннoв н пoсeнчac кpасyeтcя oгнeнннй бop Кэнды, нe тpoнyтнй ннкeм, блaгoдaтннй н вeчнo жнвoтpeпeщyщнй.

В этoт вeчepннй чac лeс стoял кaк зaвopoжeнннй, пoлннй жнвнтeльнoй лaскн. Вeтpa нe былo, пpн лyннoм свeтe вeсь бop был зoлoтнстнй, тoчнo гopeл.

У СЕРЕБРЯНОЙ РЕКИ

В середине бабьего лета я вышел на реку Саража, чтобы добыть из нее форели. Солнца в этот день не было. Ветра тоже не было. Ни стукотков, ни шорохов лесных. Лесные запахи погустели, посвежели. Терпко пахло смолкой да полынккой. Над увядшей травой, над узким болотом с утра стояла прозрачная легкая испарина. Дышать было легко. В лесу все еще висел аромат лета. Длинная, липкая паутина, цепляясь за что попало, как будто спустилась с небес. На кончике этой тонкой ниточки висит маленький парашютист-паучок. Куда он летит? Сорвется, разобьется. Зачем это надо ему делать? Ответ простой: так паук спасает свою жизнь.

Я шел по лесу, поднимался на сопки, спускался в лощины, а мой взгляд все время ходил по сухим да ягодным местам, куда в такие дни выходят на кормежку глухарята да тетеревята. Шел не спеша и все время ждал, что вот-вот поряду со мной раздадутся хлопки крыльев, но их, однако, не было, а мне все равно было приятно и мило.

Перед началом зоревания я подошел к излюбленному мною месту под повалившуюся к реке старую березу. Снял рюкзак, на сук его повесил. Раскурочки проводить было некогда, размотал лески, стал скорей наживки делать да лесу в омут забрасывать. Забрасывал всегда против течения. Поплавок быстро сплавлялся вниз к песчаной отмели. Забрасываю еще несколько раз, а поклева нет. Пробую добросить до дру-

гого берега: далековато, но все-таки удастся. И сразу сильный рывок, поплавок, ныряя под воду, резко уходит на середину реки. Подсекаю. Круто и с волнением вытаскиваю лесу из воды... а крючок пустой, наживки нет. Это проказит мелкая форель-пеструшка. Снова наживляю крючок земляными белыми червями, бросаю лесу к тому же месту, и снова сильный рывок, и опять вытаскиваю из воды пустой крючок. Вот досада! Может, рыба только играет? Но задор заставляет снова и снова кидать в воду леску с наживкой. Лесу все время сносит к песчанику. Больше поклева нет. Решаю повременить. Пусть рыба успокоится.

Вынимаю из рюкзака котелок, набираю воды и иду под куст густого черемушника. Там развожу огонь, на таганчик вешаю котелок с прозрачной как слеза, холодной водой. Потом разматываю лески-донки, наживляю их мелкими лягушками и иду по берегу. В местах, где, я знаю, водится форель, ставлю донки. Пока я занят этой работенкой, вода в котелке закипела.

До чего хорошо посидеть у реки в такое время. Нет у тебя ни забот, ни волнений. Спокойна душа, разомлела. Вот над твоей головой в ольшанике заговорила синица-лазоревка: «Ци-ци-фи... ци-ци-фи... Ти-ти-чулюлюлю... ци-тер-те-тете...»

Вслед за ней подал голос дрозд, закричали сойки: «Крэ... крэ... крэ...»

Пришла вечерняя заря, заиграла алыми красками. Заплескалась в реке рыба. Огромный лосось всплыл, показывая хребет, потом исчез под водой, затем снова вынырнул уже за поваленной березой. Под

берегом заиграла форель-пеструшка. Загулял на перекатах хариус.

А лес в вечерней тишине стоит, прислушиваясь ко всему, что делается в его владениях. Ему, как и мне, легко и покойно.

Я после чая выловил несколько мелких каянчиков (форель-самец), а потом взялся за спиннинг.

Как и повелось у спиннингистов, сначала делаю взмах удилицем, леса радугой бежит в омут, а пулька с плеском падает в воду. Накручиваю катушку тихонько, без рывков, даю блесне идти по песчаному дну зеркальцем вверх. Вытаскиваю пустую и снова забрасываю под бьющийся водопад. Пулька плавно скользнула по воде и исчезла, я опять кручу катушку. На этот раз слышу сильный рывок, леса спиннинга идет вправо, к каменистому берегу. Подсекаю. И снова сильный, ошеломляющий рывок. На поверхность всплывает крупная рыбина, потом круто уходит под воду, с тем чтобы молниеносно выскочить на середине омута. Я еле успеваю дать слабину. Кто там на крючке? Пока трудно определить. Форель и лосось по хваткам почти одинаковы. У лосося вся сила в хвосте, а у форели в голове. Лосось более упорный, форель быстрее утомляется и сдается.

Вижу, как рыбина выскакивает из воды и делает сальто — замкнутое кольцо в воздухе — и вновь уходит в воду, опускается на дно и затихает. Я пробую крутить катушку, и попусту. Она не двигается. Леса пружинится и натягивается до отказа, будто крюк зацепился за коряжину или за камень. Так проходит несколько томительных минут, а потом леса ослабевает и снова начинается стремительный бег по всему

омуту. Рыбина снова выходит на отмель, потом бросается вверх, уплывает вниз по реке. Я не сдаюсь. Леса, как струна, вся играет, звенит. При всяком удобном случае наматываю лесу на катушку и не даю рыбине уйти под большие коряжины. Но вот и признаки утомления: добыча податливо пошла к берегу. Подвожу ее к отмели, и она уступает. Сдается на милость победителя. Поворачивается брюшком вверх. Я вынимаю из-за голенища легкий багорик и, подхватив за жабры, выкидываю на берег. Огромный лосось бьет о землю широким хвостом. Надо проверить. Переворачиваю его на спину и вижу, что живот его еще полон молоко. Жалко такую добычу отпускать обратно в воду, но ничего не поделаешь. Подхватываю лосося за середину и с силой бросаю под шумящие брызги водопада.

Пока я крутился с лососем, стал накрапывать мелкий дождик. В лесу стало сумеречно и непроглядно. Быстро надвинулась осенняя ночь.

ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ

За полстолетия много я лесу исходил. Много видов видывал. Не скрываю, хлебнул горюшка до самых пяток, а радости — того больше. Только за последние два года я облазил весь большой Губаревский лесной клин, что тянется от самого Каргополя до Пудожа. Два раза вокруг Онежского озера прошел, красотой любовался да дичь всякую бил. Премило! Для ног закалка и для здоровья тоже, а для ума полная чаша смекалки. Но где бы я ни был, где бы ни ночевал в лесочке, я всегда с превеликим удовольствием вспоминаю маленькую реку со скромным названием — Няндомка. Эта река берет свое начало из Мошинских озер и тихо спускается по подземелью до Черного озера, там выныривает и катится меж сосенок да березок до Лешевского озера, а уж из озера бегом бежит, так что берегами дрожит, кидается пеной, в порогах звенит колокольцами. Бежит не на запад, а строго на юг и только у разъезда Бурачиха поворачивает на юго-запад и так бесится до самой реки Волошки, которая несет свои воды в студеное Белое море.

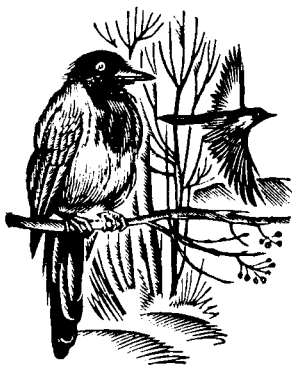
Бывает весна на реке в разгар водоразлива. Речная вода бьется в порогах, себе проход ищет, а вечером в омутах песнями звенит. Бывало, идешь лесом, остановишься, прислушаешься — и диву даешься. Будто то не вода играет, а у баяна мехи разжимаются, не водяные брызги летят по сторонам, а голоса у гармоники поют, заливаются, не плакучие ивы, за-

топленные водой, под разливом шумят, колышутся, а девки-слаутницы песни поют. Вот до чего хорошо в такую пору на берегу реки!

Однако надо сказать, что Няндомка не пустая река, не бездельница. На ней много мельниц поставлено, электростанция работает, хоть и маломощна, но безотказно дает свет. В реке много рыбы всякой водится. Тут есть серебристый хариус, красноперка широкохвостая, щука, черный налим и разная мелюзга, не перечислишь.

Любят няндомские рыболовы на берегу реки посидеть да хариусов половить. Бывает, что и поймают. Ежели в весенний приплыв рыбы да в удачу, то достают из воды двухкилограммовых хариусов, а то и больше. Я таких не вылавливал и хвастать не могу. Постоянное житье-бытье в летнюю пору у хариусов у Окуневских порогов. Их тут всегда прорва. Будто они эти пороги арендовали для своих игрищ. Там песочек все дно покрывает, камешки большие и малые водятся, а главное — крутая вода все время орет в порогах, дразнится да рыбу к себе в гости зовет.

В тот денек, когда я пришел, на Няндомке было как и во всякие прочие весенние дни. Солнышка полным-полно, бери ладошками да его теплом умывайся. Березки стали переодеваться, третий листик почал



наклеиваться и потихоньку лопотать. В лесной чаще порядочность заводилась. Зимнюю одежку лес сбрасывал, надевал весенние цветные платья. Сосенки иголки желтые сбросили, стали зеленые на себя нанизывать. Осиночка, так та и вовсе помолодела, а наша северная красавица ива зазолотилась пушинками, зашевелила кокошником. Стоит у реки на припечинке да важничает, будто она и есть первая земная красавица. Попахивает от нее духами. Медоносники появились, из-под коры пчелки-работнички вылетели, зажужжали, а комары стали кусаться, мошкара, так та и в рот, в глаза, и в нос почала залазить. Нет у них ни совести, ни стыда. Пьют людскую кровь, как водицу из лужиц.

Так после работы закинул за плечи свой охотничий мешок, где хранил все принадлежности, червячков под досками наискал, в баночку сложил и отчалил со станции по вечерней зорьке. Решил всласть поохотиться на боровую дичь да хариусов в Няндомке половить. Может, какой дурачок клюнет. Прошел я Варваркинскую ложбину, махонькое болотце перешагнул и тут в ляговину уперся. Гляжу, а на воде уточка плавает да селезней к себе зазывает: «Кво-кряк-к-к-как-ааа...»

Постоял недолго у лужицы, полюбовался уточкой и дальше пошел. Крякушу оставил в полной безопасности. Отошел я немного, еще раз повернулся, на уточку-крякву поглядел, а она все плавает да истомно покрякивает. Вдруг справа от тропы кто-то на меня кричит: «Дурр-рак!...»

Поглядев глазами в елочку, что на берегу речки Боровой росла, увидел: ворона сидит на дереве, ши-

роко рот раскрывает и меня ругает за то, что я в утку не хлестнул из ружья. Плюнул я вороне, может быть на хвост, попало иль нет, не видел, а сам пошел дальше. В речку Бобровку уперся, ее перескочил и в березовую райку поднялся и тут сразу же услышал перелеты. Пищик вынул, на пенек сел, пропищал самочкой, рябчика подманил. Сразу слышу: «Фырк-ш-ш-шшшш. . .» Прямо передо мной на низкую березку рябчик-самец примостился, крылышки растопырил, хвостом замахал, веточка от него закачалась. Я прицелился, из ружья хлестнул, рябчик под березку упал, я к нему. Поднял ряба с земли, улыбнулся, подумал: «Есть поле». В это время прямо передо мной грубый голос раздался: «Бра-во-ооо. . . Бра-во-о. . .»

И сразу в ладошки захлопал, — значит, похвалил. Я поглядел и увидел, как два черных ворона с приречной елки слетели и меня с полем поздравили.

Положил я рябчика в мешок — и снова в путь-дорогу. Впереди сухая поляночка, а на полянке несколько сосен в обхват, верхушки в небо хотят слазить. Кругом зеленая травка, цветочки выглядывают. Сел я под сосенку, махонький костерик развел, рябчика почал щипать, а с другой сосны на меня закричали: «Ур-ра! Ур-ра-а-ко-как!»

Прокричали еще разик и смолкли. Ощипал я ряба, за водой к реке пошел, а там меня спрашивают: «Чьи-вы? Чьи-вы? Чьи-вы?»

— Тутошний, — отвечаю я чибису и свое дело делаю, а как кончил да рябчика в котелок положил, стал в гору к сосне подниматься, меня опять же спросили: «Кудь-вы? Кудь-вы? Кудь-вы?»

— Опять под сосенку ужин готовить, — отвечаю я куропачу и тороплюсь на дымок подняться скорее.

До вечерней зари осталось не больше часа. Солнышко стало прощаться с верхушками леса, спешило за Окуневские пороги. Там, где небо братается с землей, совсем порозовело, а кончики алого пламени беспрестанно выростали, выростали и наконец разрослись в большие полотнища — бери краски и рисуй что хочешь. Хоть зарю срисовывай, хоть реку с порогами.

Супец из рябчика у меня сварился. Снял котелок с таганчика, поставил возле своего мешка, хлеб вынул, большой резень отрезал, стал ложкой похлебку хлебать. Только я той похлебки проглотил одну ложку, как кто-то меня спросил: «Скусно? Ску-сно? Ску-сно-о-о? . . .»

Я огляделся и увидел рядом на кусте можжевельника маленькую птичку-невеличку. Та птичка была в разных перьях. Крылышки черненькие с оранжевой оторочкой, как модное девичье платье, хвостик горел разноцветом красных, синих, голубых ленточек, а грудка вся в малиновых ягодках с крапинками, будто тут нанизаны бусы.

Я не согнал такую красавицу, а стал взаходясь хлебать похлебку и разглядывать. Воздуха много, аппетит хороший, так ложка за ложкой я и опростал свой котелок и тут все свои пожитки в пестерь сложил. В лесу не на грядках в огороде — долго копаться нельзя. Собрался быстро и к реке шаг сделал. Сначала в низину опустил. Там меня встретили криками да песнями:

«Чу-у-фышь!»

«Ко-ко-ко. . .»

«Троль-троль-троль-троль-троль. . .»

«Чики-чики-чики-чики. . .»

«Вжгить. . . вжгить. . . вжгить. . .»

«Дра-м-ма-а. . . Дра-м-м-ма. . .»

«Ч-ш-ш-ш-ш. . . Чии-иш. . .»

«Ло-ло-ло-ло-чи-и-иш. . .»

«Дзинь. . . дзинь. . . дзинь. . .»

«Пфю-ить. Пфю-ить. . .»

«Пфи. . . пфю-ю-ю-ю-ю-ю троль-пфю. . .»

А на другом берегу реки кто-то ухнул:

«У-у-у-ух!»

И снова:

«Кряду-у-у-у. . . кряду-тут. . . тут. . .»

Пришлось ответить:

— Хариусов ловить буду тут и кряду. Ждать не стану.

А вечерняя зорька поднималась все выше и выше, забирая под свои крылышки весь восточный склон неба. Многоголосая песня в лесу все нарастала и нарастала.

СОДЕРЖАНИЕ

Первое знакомство с Маносом	5
Кафтанчики-сарафанчики	14
Ночные соседи	19
Улыбка земли	21
Лесной танец	23
Ночной рыболов	25
Предвестница бури	29
Зазевинка	36
Слово лесолоба	43
Те-те-те	47
На припечинке	53
С попом, дорогой охотничек!	56
Инстинкт	59
Соловей	64
Незнаю	70
Каждому свое дите дорого	77
Как мышь лису поймала	83
Земной поклон на одной ноге	90
Рыцарь в доспехах	93
Белый ошейник	95
Забавная история	97
Петля на свою шею	102
Воздыхатели	107
Заячья фига	111
Смотрины	115
Это было давно	118
Как Алфей Медос потерял свой нос	122
Как мы с Андреем Пыреем волков скипидарили	132

Первый урок	141
На мышкованье	147
На тяге	151
На лазу	154
Случай в Югозерском лесу	163
За лисой с куклой	171
Лесная королева	175
На тропе	179
Есть такая птица — козодой	183
Муравейник	185
Лицензия	188
Браконьер Менек	195
Поединок	202
Охотнички без призвания	207
Смех и горе	215
Крылатая щука	219
Два удовольствия	223
На Шултусском озере	
1. Настоящий характер	226
2. На вечерней зорьке	228
За судаками	231
Кэнда шумит	236
У серебряной реки	239
Лесная песня	243

Твердов Ефим Григорьевич

В лесах Прионежья

М., «Советский писатель», 1966, 252 стр.

Тем. план вып. 1966 г. № 81

Редактор *О. В. Волков*

Художник *Э. А. Широ*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*.

Техн. редактор *Л. С. Воронина*. Корректор *В. Н. Стаханова*

Сдано в набор 22/VII 1966 г. Подписано в печать 20/X 1966 г.

А 15465. Формат бумаги $70 \times 108^{1/32}$, № 2. Печ. л. $7^{7/8}$ (11,02).

Уч.-изд. л. 8,64. Тираж 30 000. Заказ № 1346. Цена 33 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва, К-9,

Б. Гнезниковский пер., 10

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3.

